

ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ Н. В. ГОГОЛЯ

Даниэль ОРЛОВ

ВРЕМЯ РИСКОВАННОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



Даниэль Орлов

Время рискованного земледелия

ИД «Городец»

2021

УДК 82.3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Орлов Д.

Время рискованного земледелия / Д. Орлов — ИД «Городец»,
2021

ISBN 978-5-907358-85-0

Даниэль Орлов, один из немногих современных прозаиков, кто обращается к теме русской глубинки и создает точную и выразительную панораму жизни в отдалении от столиц. Орлов следует эпической традиции, блестяще реализованной писателями XX века: от Бунина и до Фолкнера, от Распутина и до Маркеса. За каждым героем романа, будь то разорившийся бизнесмен, деревенский священник или почтальон – судьба, уходящая корнями в прошлое и прорастающая в будущее. Но на каждой судьбе есть печать беды. Что тому причиной? Богооставленность? Обморок власти? Людское равнодушие? На эти вопросы пытается найти ответ писатель. «Время рискованного земледелия» – это большой русский роман, в котором метафизическое прорастает сквозь обыденное в вечном сплетении любви и смерти.

УДК 82.3

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-907358-85-0

© Орлов Д., 2021
© ИД «Городец», 2021

Содержание

1	7
2	13
3	17
4	20
5	25
6	29
7	34
8	39
9	46
10	54
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Даниэль Орлов Время рискованного земледелия

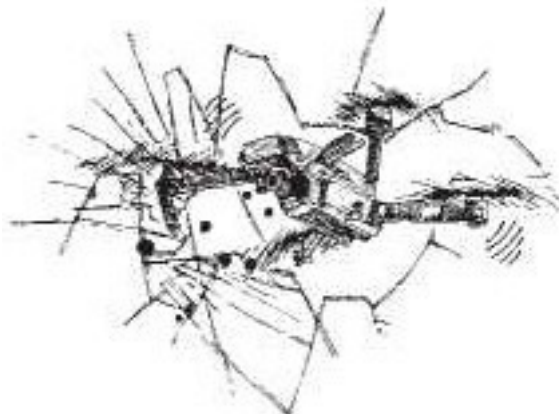


© Орлов Д., 2021

© К. Прокофьев, иллюстрации, 2021

© ИД «Городец», 2021

С благодарностью моим друзьям – Дмитрию Бирману, Ирине Витковской, Анаит Григорян и Александре Николаенко



Есть те, что живут жизнь от самого младенчества. Любой их поступок – продолжение далёкого детского жеста. Всякое слово началось много лет назад вздохом, каждая мысль была когда-то детским сновидением. Они счастливы. Им есть откуда набрать сил: они крепче других держатся за ствол, а тот уходит корнями в невоспоминаемое, ветвями в невообразимое. Сами тот ствол. Кровь их – сок, питающий будущее. Потому и живут просто, потому и грехи их понятны даже неопытному исповеднику.

Мы не такие. У нас что ни грех, так дрянь душевная, пакость вьёвшаяся, которую не вычистить, не застирать. Живём на самых концах веток, чем дальше от ствола, тем лучше. Мы листва. Это мы шелестим, шуршим, трепещем. Вначале только сочимся мёдом почек, чтобы потом, изъеденные тлём и паршой, скрючиться в злобе и обиде да жаловаться всякому нездешнему ветру. Наконец сорваться и полететь прочь, подальше от этих мест, прочь, прочь, чтобы гордо стать перегноем в чужом лесу. Мы презираемы, но желанны. И чем мы ярче, тем суше наши души и ближе день, когда мы вырвемся на свободу. И если повезёт, если ветер будет силён, даже пусть будет он бурей, мы рванём что есть мочи и если не поломаем ствол в щепы у самой земли, то оторвём ветви, потому что дали ветру убедить себя, что это наши ветви, только наши.

1

Забор перед беляевским домом за зиму совсем сгнил. Прошлым летом Беляев укрепил его где можно, даже заменил пару штакетин, хотел ещё и покрасить, но когда принялся сдирать похожую на щетину Синей бороды старую вспученную краску, увидел, что под ней совсем труха. За весь сентябрь, против обыкновенного для этих мест, выдалось только два солнечных дня, а остальное время то моросило, то лило, забор напитался влагой и торчал над запутанной и полёгшей травой тёмным, тяжёлым укором беляевской бесхозяйственности. В декабре его почти полностью занесло снегом. По весне Беляев уже не пытался его поправить, а лишь толкнул сгоряча – и сразу повалил столбы вместе со штакетинами, основательно, казалось бы, торчащие из почерневшего сугроба. Остался стоять последний, у соседского дровника. Жестяной почтовый ящик, висевший прежде на калитке, он снял и примотал проволокой к рябине под окном. Теперь Леониду, второй год служившему в Чмарёвском отделении связи почтальоном, приходилось оставлять велосипед возле фонаря и идти по раскисшей тропинке до самого дома. Он совал в ящик «Судогодский вестник» и стучал монеткой в стекло.

Беляев выходил, здоровался, пожимал Леониду руку, и они говорили о футболе.

По-настоящему, Беляеву на футбол было наплевать. У него и телевизора не имелось. Беляев отвык смотреть ящик ещё в Москве, пристрастился читать интернет, а всем новостям предпочитал сплетни из социальных сетей или пиратские фильмы. Леонид рассказывал Беляеву, что раньше чмарёвцы и селязинцы болели за ЦСКА, но после того, как приехавшие на пяти автобусах фанаты московского клуба поломали скамейки на центральном стадионе Владимира, болельщиков армейцев в городе поубавилось, а по деревням не осталось и вовсе. Теперь тут следили за «Спартак» или «Локомотив». И только беляевский сосед Пухов, который в молодости служил командиром БЧ-пять на Балтийском флоте, болел за «Зенит». Когда играла любимая команда, он на прибитом к сараю дрыне-флагштоке поднимал военно-морской флаг давно не существующей страны, выставлял телевизор в окно и звал Беляева. Соседа не уважить было нельзя. Беляев выходил из дома, садился на раскладной туристический стул и делал вид, что смотрит. Сам же шурился на закатное солнце, дребезжавшее в листве трехсотлетней ветлы, попыхивал электронной сигареткой и пытался думать о приятном.

Приятного в жизни Олега Беляева в последние три года случалось совсем мало. К сорока девяти годам оказался он одинок и, если не стесняться говорить честно, беден. Развёлся с двумя жёнами, от которых успел дожидаться холода и упрёков, но так и не дождался детей. Собственную фирму, пестуемую годами, по простоте душевной и лености немногочисленных сотрудников потерял, оставшись с огромными долгами. Кредит, взятый на дом в кооперативе под Можайском, отдать не смог, да и дом тот жулик-застройщик не поднял выше второго ряда кирпичей над потрескавшимся и уже кое-где проросшим сорняком фундаментом. Проценты по кредиту Беляев вначале выплачивал аккуратно, потом стал пропускать сроки, разговаривал с вежливыми, но настойчивыми сотрудниками банка, а через год, после трёх месяцев просрочки, когда банк нанял коллекторов и те принялись названивать каждый день в десять часов утра, рассудил, что за такую нервотрёпку ничего банку не должен, и перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров.

На новое дело средств не хватило, а в Москве Беляев со своими двумя высшими образованиями оказался не нужен. От съёмной квартиры и автомобиля пришлось отказаться. Тогда он и придумал на время уехать жить в деревню, забиться в дальний угол, чтобы переждать, пока успокоятся кредиторы или что ещё переменится. Авось не оставят его небеса, потому как, по инвентаризации Беляевым собственной души, зла настоящего в жизни он никому не сделал. Беляев продал трёхлетнюю «Тойоту» с хромированными, блестящими молдингами и купил домик под Владимиром, на самой окраине старинной деревни Селязино. С этой окра-

ины, с небольшого пупыря за территорией бывшего коровника открывался умиротворяющий вид на Синеборье.

Ровно между Селязиным и Чмарёвым, позади огородов, столетиями отражало сочные мешерские облака небольшое моренное озерцо. Не то что проезда, тропинки к нему ни с шоссе в Судогду, ни с единственной деревенской улицы было не видать. Впадали в озерцо местные ручейки да мусорные речки-вертлявки. И те, что кружили меж раскисших, поросших осокой берегов, и те, что, обернувшись вокруг камней и валунов Чмарёвой балки, вдруг раздумывали бежать дальше до Войнинги. В Чмарёве про селянцев незло говорили, что предки тех были рыбы из того самого озерца. Дескать, в засушливый год повывезали они на берег, да так и остались. И верно, у большинства сельчан глаза были рыбы, навывате. Женщины, даже нерожавшие, грудью казались плоски, плечами покаты, а мужики все, как на подбор, лопоухи, словно не уши то, а выставленные в сторону жабры в желании наддышаться туманом и моросью.

Из окна беляевского дома были видны грязноватые жестяные крыши селянских домов, бараки, выстроенные ещё для эвакуированных, старый заброшенный ток, поросшие цикорием края силосной ямы да трансформаторный щит. Но здесь было лучше, нежели в столице. Даже в часовой прогулке до магазина и обратно по нижней дороге мимо гор сваленных обрезков с пилорамы, мимо выпаса и старой сеносушильни с дырявой крышей виделось Беляеву больше пользы для души и тела, чем в сутках нервных электрических занятий перед экраном офисного компьютера.

Первой селянской зимой Беляев много размышлял о жизни. Пока он ещё не приколотил заново доски чёрного пола, дуло из всех щелей и ему приходилось вскакивать среди ночи и заново растапливать печь. Но, всё едино, Беляев мёрз, кутался в ветхое ватное одеяло, оставшееся от прежних хозяев, и мысли от того в голову приходили сплошь унылые. По тем размышлениям получалось, что, вроде как, и поделом ему. И от этого «поделом» становилось на душе одиноко и шершаво, он ворочался, кряхтел, кашлял облачками пара в холодный воздух комнаты, наконец вылезал из постели, ставил чайник на плиту, включал приёмник и под бодрые утренние голоса ведущих местной владимирской радиостанции вновь кормил печь дровами.

Если назвать душевные качества, делающие русского человека русским, все они собрались в Беляеве. Был он смел, но не предприимчив, талантлив, но ленив, отчаянно ленив, но честен, честен, однако по-детски наивен, наивен, однако терпелив.

Дом этот он выбрал по фотографии в сети: ровные, крашенные зелёной краской брёвна фасада, белые резные наличники на четырёх окнах, шапочка будки-фонаря над фронтоном. Пушистая цветущая яблоня перед крыльцом тоже попала в кадр.

В объявлении писали, что есть две комнаты, с мебелью, кухня, подсобные помещения, дворовые постройки и инвентарь. На фотографиях аккуратные интерьеры деревенского дома, такого же, как был у семьи матери под Невелем. Десять минут до остановки на Владимир и Судогду, колодец на участке, газ в перспективе.

Он приехал скоростным в одиннадцать утра в последнюю апрельскую субботу. Улыбчивая агентша встретила Беляева на вокзале во Владимире, посадила в синий, словно искрящийся на солнце, корейский автомобиль и повезла узкими улицами города мимо уютных небольших домов. Она не умолкая нахваливала этот «хороший крепкий дом», говорила, что большая удача и редкость найти в столь популярных у москвичей местах такой «хороший крепкий дом за такие смешные деньги».

– Налево наша гордость, Успенский собор, он был перестроен при Екатерине, тогда добавили колокольню. А это бывшее здание городской думы, далее, справа, торговые ряды.

Беляев смотрел куда она велела. Ему нравилось. Красиво. Он приезжал сюда в детстве, с классом на экскурсию из Ленинграда. В первый же вечер у него схватил живот, и все три дня, что одноклассникам показывали то Суздаль, то Муром, провалился в спортивном зале школы, где их поселили, то и дело выбегая в туалет, поэтому помнил мало. Почти ничего. Но

собор помнил. Он же был знаком Беляеву по многочисленным репродукциям и фотографиям. Автомобиль свернул вправо, потом ещё раз, проехал под проспектом и покатил по длинному мосту через Клязьму.

– Если обратить взгляд назад, то открывается величественный вид на левый берег реки, ансамбль Успенского собора, смотровую площадку со скульптурным портретом Князя Владимира и далее зданием бывшего Дворянского собрания в классическом стиле, за которым ясно различим купол Андреевского храма, – произнесла агентша с интонацией заправского экскурсовода и улыbnулась во весь рот.

– Я до того, как стать риелтором, группы водила, – добавила она уже обычным голосом, – деньги хорошие, но суеты много.

Они ехали по шоссе, куда-то поворачивали. Олег думал, что не мешало бы запомнить дорогу, но, убаюканный солнечным дребезгом в ветвях деревьев по краям шоссе, закемарил. Проснулся, когда агентша заложила руль вправо, мелькнул щит с указателем «Трухачево-Исаково» и маленький корейский автомобильчик затрясся по плохому асфальту, рыская из стороны в сторону, объезжая выбоины с острыми краями. Навстречу то и дело попадались лесовозы.

– Тут вырубки, что ли?

– Воруют, – кивнула риелторша, – начальство оформилось как фермеры, получили делянки в окрестных лесах, пилят, рубят, возят. У вас не так?

Беляев не знал, как «у нас». Он не очень понимал, где именно это его «у нас». Этого его уже вроде и не было. Только могилы родных на погостах да квартиры, оставленные бывшим жёнам. Только и есть всего его, что купленный гараж в гаражном кооперативе на юго-западе Москвы, где свален весь беляевский многочисленный скраб: остатки мебели от расформированного офиса его издательства, пять компьютеров, коробки с документами, несколько вязанок книг по параллельным вычислениям, собственный икеевский диван, тумбочка, разборный кухонный стол, торшер и самокат. Ещё два чемодана с одеждой, которая уже либо вышла из моды, либо стала мала. Беляев вдруг начал полнеть после сорока.

По узкому мосту пересекли небольшую реку, и дорога резко пошла по дуге, взбираясь на холм. Церковь возникла неожиданно. Из-за деревьев на склоне её куполов было не видно. Белые стены в недавней побелке, кое-где установленные свежие леса, высокая колокольня с крестом, увенчанная короной. Вдоль ограды аккуратные клумбы с цветами. Агентша на мгновение притормозила и широко перекрестилась.

– Там источник внизу, со святой водой. Говорят, на опорно-двигательный аппарат хорошо влияет. У меня в колене хрустеть перестало.

После храма дорога делала очередной поворот и наконец выпрямлялась, как физкультурник после сложного упражнения. Они проехали строительный магазин, Олег заметил небольшой мемориал, почту. По обе стороны дороги, нахмутив резные деревянные брови очелей, стояли крепкие большие дома некогда зажиточных жителей деревни, огороженные глухими жестяными и деревянными заборами. Большинство уже были отремонтированы новыми хозяевами, с яркими добротными крышами и тарелками параболических антенн. После магазина из белого кирпича с вычурной башенкой автомобиль свернул на разбитую лесовозами бетонку, где из щербин торчали то тут, то там гнутые прутья арматуры.

– Это уже Селязино, Чмарёво кончается после канавы, а там за пилорамой Радостево. Но там богатые живут, я в прошлом году сделку вела. Дом как квартира в Москве стоил. И купили! Всё потому, что хорошие места тут.

Беляев кивнул, в этот миг машину тряхнуло, и он услышал, как металлически лязгнули зубы у агентши. Он почему-то подумал про протез. И дальше, пока они пробирались по лужам, царапали с жестяным шорохом о края огромных ям днищем, он думал только о том, что агентша улыбается не потому, что у неё хорошее настроение или хорошее воспитание,

а потому, что хочет показать свои ровные керамические зубы. «А вот возьмут и треснут», – подумал он, кажется, вслух, потому как агентша переспросила, кто это треснет. Беляев ответил, что имеет в виду рулевые тяги.

– У нас в области дороги неважные. У БМВ, например, подвеска совсем недолго ходит, сайлентблоки летят, рулевые тяги опять же, а корейцы ничего, крепкие.

Автомобиль, казалось, с недоверием к водителю, выбрался из очередной глубокой лужи и покатил по хорошо укатанному просёлку между двух рядов аккуратных домов.

– Здесь дорога грунтовая, она такой всегда была, но зимой чистят. Каждый день трактор проходит.

– Зимой чистят – это хорошо, – согласился Беляев.

Они выехали на небольшой пригорок и остановились напротив знакомого по картинке в объявлении светло-зелёного дома столетней постройки за синим забором. Вокруг дома, несмотря на весну, трава стояла уже почти по колено, но перед забором от дороги и до калитки кто-то прокосил. На тропинке, раскинув не по-собачьи задние лапы, сидела большая белая псина, метис лабрадора и кого-то неузнаваемого.

– Это соседка, Пухова. Она не кусается. Я позвонила, попросила, чтобы привел в порядок, покосил. Кинула двести рублей на телефонный номер. Теперь это удобно. – Агентша заглушила мотор и вынула ключи из замка зажигания. – Ну, пойдём смотреть ваши, очень надеюсь, что ваши, хоромы.

Оказался дом таким же, как представлялся по фотографиям в сети. Крыльцо, правда, совсем покосилось. Но добротные брёвна, из которых дом когда-то был сложен, более чем за сотню лет высохли до звона. Длинные глубокие трещины расчертили внешнюю их сторону от калитки и до огромной клетки с провалившейся крышей, но в сенях агентша отодвинула кусок обоев и показала Беляеву аккуратный шлифованный бок, похожий на недавно испечённую булку, на которой ещё остались следы муки:

– Сто лет простоит, не сомневайтесь. Триста тысяч для такого дома – хорошая цена. Тут один участок двадцать пять соток.

Внутри Беляеву тоже понравилось. Две большие комнаты с русской и голландской печами, крашенные суриком широкие доски пола, которые не прогибались под его тучным телом, буфеты с чашками и рюмками, белые подоконники с прошлогодними трупиками мух и ос, календарь за две тысячи второй год на стене, в мушиных пятнышках.

– Всё хозяйство остаётся. Приезжай-живи. Продавцу ничего не нужно.

– И это? – Беляев показал рукой на стоящий в углу холодильник «Саратов».

– Всё. В сенях инструменты, в клетки лопаты, садовый инвентарь, на кухне плита, в ящике на улице баллон на пятьдесят литров заправлен. Холодильник рабочий, только вилку заменить надо. Говорю же, дом готов к заселению.

Беляев почувствовал вдруг необычное вдохновение хозяина. Покосившееся крыльцо можно было поправить, доски пола в сенях заменить. Беляеву мнилось, что ему всё по плечу, по силам, да так, что захотелось вот прямо сейчас переодеться в старые джинсы и футболку, поддомкратить крыльцо и заменить сгнивший нижний венец. Ему казалось, что он уже чувствует запах опилок, слышит скрип, с которым саморез входит в свежеструганную доску. Если бы так же можно было починить саму беляевскую жизнь! Заменить, ошкурить, смазать, наладить по новой. Авось получится.

Агентша ещё нахваливала дом, предлагала выйти в сад, посмотреть на яблони, но Беляев уже решил, что покупает. Так бывает, покажется что-то сразу, и нет более надобности в убеждении. В тот же день в Судогде у нотариуса оформили документы и сдали на регистрацию. Хозяйка, срочно вызванная из Владимира на сделку, оказалась нервной, глупой тёткой лет шестидесяти. Увидав Беляева, она прямо в кабинете нотариуса вдруг заломила цену на треть вверх указанного в объявлении.

– У нас места целебные, москвичи едут. Тут такой воздух! Курорт! Источник святой есть. На опорно-двигательный аппарат влияет. Скоро газ проведут. За бесценку отдаю. Москвичи покупают, строят, – всё повторяла она, рассчитывая, наверное, что у покупателя проснётся совесть и он вдруг раскошелится.

Наконец агентша извинилась, отвела тётку в сторону, и после минутного разговора конфликт был улажен.

Обратно Беляев ехал в приподнятом настроении. Ещё из электрички он позвонил квартирной хозяйке и предупредил, что через две недели съезжает, полистал в сети объявления о продаже машин, приценился к пятилетней длиннобазной «Ниве». Глянул, сколько стоит электрорубанок, болгарка, шуруповёрт, нашёл где выгоднее взять стометровую бухту провода ввэ-ге три на два с половиной и пятидесятиметровую три на полтора: проводку в доме следовало заменить.

Прямо с вокзала он не вытерпел и отправился в строительный магазин. Долго ходил там между стеллажей, разглядывая инструмент, трогал, брал, чтобы почувствовать, как ложится в руку, записывал на листочек названия того, что понравилось. Денег после покупки дома оставалось ещё много, но Беляев планировал экономить. Купил только болгарку по акции и к ней абразивные круги.

До своего съёмного жилья на Ленинском проспекте добрался, когда почти стемнело. Поздоровался с консьержкой, поднялся на лифте на десятый и замешкался перед дверью в своё крыло. Ключ проворачивался в замке, но механизм не двигал собачку. Только с десятой попытки Беляев догадался, что замок сменили. Он чертыхнулся и собрался звонить соседу Валерке Шахраю, бывшему питерскому менту, с которым приятельствовал, но тот сам уже вышел из лифта, держа на поводке рвущегося облизать Беляева мопса.

– Это я поменял. Какие-то сволочи набезобразили. Тебе свою дверь оттирать предстоит. И это пригодится, – сосед кивнул на коробку с болгаркой.

Он отпер замок и пропустил Беляева вперёд.

– Думал, по телефону брякнуть, а потом решил: что расстраивать человека?

Квартира Беляева находилась в конце коридора. Ещё издалека были видны белые бороздки монтажной пены, выросшие поверх металла.

– И по периметру залили. Видать, кому-то крепко насолил. Как в старые добрые времена! – В голосе соседа послышался азарт. – Помощь нужна? У меня в таких делах опыт. Порешаю, если скажешь.

– Вряд ли. – Беляев провел пальцем по гладкой, целлулоидной поверхности монтажной пены. – Разве что удлинитель понадобится да и молоток не помешает.

Сосед завёл мопса в квартиру, размотал удлинитель, раскрыл перед Беляевым ящик с инструментами и уселся тут же на табуретке.

– На кого думаешь?

– А что думать? – Беляев распаковал болгарку, прикрутил к ней отрезной круг и теперь аккуратно ножиком срезал пену, чтобы добраться до замка. – Коллекторы. Понабрали шпаны, вот и безобразят.

– Жаль, меня дома не было. – Сосед мечтательно зажмурился. – А что, много должен?

– Много – не много, отдавать не с чего.

– Вот и не отдавай. Придёт время, всех этих ростовщиков из страны выметем, всю плесень выжжем. Дурят буржуи, как при Адаме Смите. Термины новые изобретают, а как не было в мире справедливости, так нет её, и похоже, если не проснётся русский человек с его бесконечным терпением, так и не предвидится. А общество давно ставит вопрос о формализации закрепления примата социального над финансовым. Это уже смена общественной формации.

Чувствовалось, что сосед был выпивши и потому сел на любимого конька. Ещё до ОМОНа Валера Шахрай защитил кандидатскую по математике. Но когда в стране кончилась

наука, ушёл в менты, дослужился до майора, бросил это дело и переехал в Москву. Теперь торговал чаем, возил его из Китая, имел постоянную клиентуру.

Про кандидатскую, скорее всего, Шахрай врал. Не был он похож на кандидата наук, дай-то бог окончил вуз. Может, и была когда-нибудь такая мечта, но так мечтой и осталась. Обычный волжский мужик, однажды переселившийся в Москву, такой же, как и другие, бывший мент, что щедро отразилось и на внешности, и на разговоре, и на характере.

Беляев включил болгарку. Искры красивым фонтаном ахнули из-под звенящего круга, и в тонкой жестянке китайской двери появилась аккуратная прорезь, через которую можно было разглядеть белую сталь задвижки.

– Как считаешь, возьмёт?

Сосед встал с табурета и подошёл ближе.

– Должна. Там ригель сколько?

– Миллиметров восемь-девять.

– Девять – не девятнадцать. Если сто двадцать пятый круг достанет, должна взять. Повезло ещё, что фланец резать не придётся. Давай, не менжуйся!

Беляев хмыкнул, поправил очки, и круг с визгом вошёл в сталь щеколды. Болгарка справилась с кованой сталью меньше чем за минуту. Не дожидаясь, пока щель застынет, Беляев дёрнул за ручку, хрустнуло, полетели хлопья монтажной пены, и дверь открылась.

– Ну, заходи, что сидишь, – позвал он Шахрая.

Потом, когда уже выпили по стакану водки и вышли курить на балкон, Беляев признался, что переезжает.

– А речка на твоей ферме есть или озеро?

– Есть. – Беляев вспомнил мост, через который они переезжали. – Есть речка. И ещё в середине деревни, за огородами, не то озеро, не то пруд.

– Вот и хорошо, караси, наверное, есть. В этом году я без отпуска, оптовики красноярские кинули. Хорошо, я с китаёзами сам знаком. Гоняюсь теперь то в Сычуань, то в Юньнань, а то и вовсе на Тайвань полечу. К матери в Тутаев выбираюсь по два раза в месяц, что, конечно, непорядок. А к следующему маю разгребу да приеду. Чтоу вас там ещё хорошего?

– Источник святой есть. Говорят, на опорно-двигательный аппарат влияет.

Беляев заулыбался. Ему вдруг стало хорошо. И оттого, что вот так здорово он придумал с домом, и оттого, что приедет к нему Шахрай и они вместе пойдут на рыбалку, и просто от водки.

2

Первым делом Беляев занялся огородом. Купил электрическую косу, удлинитель и три дня косил уже высокую, почти в пояс, набравшую к середине мая силу траву. Участок оказался узким и длинным. В первый приезд Беляев его особо не рассмотрел, а тут уже закончился пятидесятиметровый кабель, а до опушки леса, где стояла покосившаяся, с дырявой крышей и ржавой трубой банька, оставалось ещё изрядно. Выручил Пухов, предложив запитаться от розетки на столбе в своём огороде.

– Я смотрю, круто взялся. Сажать что будешь или просто? Если картошку, дам тебе два ведра пророщенной, у меня осталось.

Беляев не отказался. Следующие пять дней с самого спозаранку, когда только-только начинала звенеть в хрустале летнего утра за высоким серым забором пилорама, и до позднего вечера, когда зажигалось вдоль единственной деревенской улицы электричество, терзал он лопатой одичавшую без любви и ухода землю, почти целину. Руки и спина болели. По утрам вставал он с оказавшейся неудобной кровати с трудом, охал, молот кофе, ставил на плиту старый итальянский кофейник с оплавленной ручкой, умывался во дворе из рукомойника, наскоро завтракал и вновь спешил на огород.

Как обленившихся толстых щенят за шкуру, поднимал Олег за спутанную прошлогоднюю траву мохнатые тяжёлые комья дёрна и тряс, оббивал о лопату, сорил жирными земляными комками, сеял землю в землю. Наконец перекопал получившийся огород, тяпкой разбил крупные куски глины, перемешал с песком и землёй. Вспомнил бабкины уроки, натянул между кольшков бечеву. Устроил канавку на полштыка, примостил в землю аккуратные соседовы клубни с белыми длинными усами, тяпкой выровнял, переставил кольшки, прорыл следующую канавку, потом ещё одну, ещё. За неделю получилось у него неплохое картофельное поле двадцать пять на двадцать метров и ещё, чуть в стороне, несколько грядок под зелень.

Пухов иной раз посматривал из-за забора и качал головой.

– Что ли трактор пригнать? Бон у меня брательник на нём на пилораме ездит. Он тебе тут заборонует поперёд, а потом уже в распашку. Что руками целину мучить?

– Трактор неспортивно, мне для физкультуры, в форму надо прийти.

– Как знаешь, моё дело предложить. – Пухов опять качал головой и уходил к себе.

Хозяйство пуховское было большое. Огород с картошкой полз длинными серыми червями вниз по склону до самого пруда, соток на пятнадцать. Вдоль картошки росли кусты смородины и крыжовника, за ними, на границе с участком Олега, яблони и сливы. Всё это, обихожное, по уму устроенное, с белыми коробами теплиц, с крашенной в яркие цвета сарайкой, срубом над колодцем, расписными беседками и цветочными клумбами, вызывало в Беляеве искреннюю зависть, желание если не добиться подобного порядка то, хотя бы не ударить перед соседями в грязь лицом. Только как городской человек перед деревенским ни пыжится, всё болваном выглядит, пусть и при деньгах. С такого дурака за учёбу свой рубль деревня сдерёт. До тех пор как зиму со всеми не перезимуешь, не вымерзнешь знобливой осенью на утренней остановке в ожидании автобуса до райцентра да не посидишь трое суток без света, когда снег оборвёт провода на трассе, будешь считаться за дачника, а с тех и сотню просят.

Это первое лето пребывал Беляев в азарте и вдохновении переселенца. Спал мало, работал много. Мышцы и суставы вначале болели, особенно по утрам, когда, морщась, вставал он с кровати, но потом привыкли. Он скинул пяток килограммов, таская воду с источника в низинке за домом Леонида, у колодца на участке давно обвалились стенки. После огорода занялся проводкой в доме, потом баней. Проведя ревизию всего доставшегося ему хозяйства, собрал в чулане позади клетки многочисленные ржавые пилы, косы, серпы, приبلуды-приспособы и вовсе неизвестного современному городскому человеку назначения. Что ещё годилось

в хозяйстве, разложил по полкам, остальное сгрузил в большой ящик и задвинул за кадку. Настало время заняться баней. Все эти дни мылся он на заднем дворе, обливаясь из ковшика, укрытый от соседей с одной стороны тем же чуланом, а со стороны пуховского участка примостив лист шифера.

Баня на участке имелась. Стояла она покосившаяся, с дырявой жестяной крышей, вросшая в землю у самой опушки леса. На дверях бани сверкал новый замок, ключа от прошлых хозяев не осталось. Да Беляев и не стал искать, просто поддел топором петельку и аккуратно вынул вместе с длинными гвоздями. Дощатый пол предбанника, расчерченный тенями переплётов от двух окон с мутными треснувшими стёклами, тем не менее оказался подметён. Да и в мыльной, где стояла печь и свет попадал через узкое слуховое окошко, было прибрано, на полке дном вверх лежала жестяная шайка.

Беляев выгреб два ведра золы и углей из старой банной печи, сложенной из камней, с узкой топкой и ржавым баком, установленным поверх чугунной плиты, залепил трещины в кладке смесью глины, цемента и соли, как делали в деревне у родителей матери, и только после этого решился протопить. В сарае от прошлых хозяев оставалось изрядно наколотых дров, высушенных до звона. Огонь занялся хорошо, но сразу пошёл дым из невидимых доселе трещин, да такой густой и едкий, что Олег выскочил наружу и чуть не столкнулся с Пуховым. Тот пришёл через калитку между участками, через которую обычно появлялась пуховская собака. Сейчас она сидела в ногах хозяина и чесала задней лапой ухо.

– Подпалить к херам меня собрался?

– В мыслях не было. – Беляев снял очки и закашлялся.

– Ты взгляни на трубу, жестянка в дырках. Я ещё с Галиной ругался, когда она пачкотню затевала. Печь мало что из дерьма сделана, так ещё и сложена абы как.

Труба действительно была худая. Через бесчисленные отверстия валил дым.

– Толик-мечтатель клал, бабы Мани бывший муж, Афонинский отец. – Пухов махнул в сторону дома соседки, участок которой примыкал к беляевскому с противоположной от Пухова стороны.

– Известный халтурщик, чтоб ему на том свете икалось. Даже себе толком ничего сделать не мог. Я его хорошо помню, хотя пацаном был. Но про Толикову криворукость аж до Судогды рассказывали. Понаделал делов по всем деревням. Много где за ним переделывал, знаю его работу. Печи, что он ложил, чадят, проводку тянул – пробки шибает, крыльцо ставил – отъехало от дома. Бракодел, мать его.

– Странный мастер. Как не побили!

– Бивали. И не раз бивали. Да ты не дрейфь. – Пухов посмотрел на заметно погрузневшего Олега и легонько толкнул соседа кулаком в грудь. – Печь я тебе помогу переложить. О цене договоримся. Много не возьму. Но глину надо другую. Эта сухая, бедная, не подходит она. Там у озера, что посередь деревни, закапушка есть. Из неё все и берут для печей. Хорошая глина, жирная, самое то. Но тут я тебе не пособник. У меня, сам знаешь, спина.

Спину Пухов, может быть, застудил, может быть, надорвал и время от времени приходил к Беляеву то за таблеткой, то за мазью. Беляеву, впрочем, казалось, что Пухов симулирует для жены и дочери, которые заставляли его строить пристройку к дому. Сейчас он сходил в сарай за тачкой и прутиком в пыли нарисовал схему прохода к озеру.

– На машине не проедешь, уже дожди пошли, развезло к херам, завязнешь. Лучше пешком с тачкой, через пилораму. Дом с шиферной крышей увидишь, перед ним качеля из покрывки на ветле. Вот за ветлой той щель между заборами и тропа. Но по тропе тачку не прокатить, узко. Ты тачку спрячь в кустах, ветками закидай, никто не возьмёт. А глину будешь на улицу таскать в рюкзаке или в сумках. Тропа тебя к мосткам выведет, с которых бельё полощут, и пойдёт вправо к другому берегу. Вот тебе туда и надо. Люди там ходят, тропа видна, мимо не проскочишь. Закапушку тоже не пропустишь, она у самого берега.

– А что, в озере караси есть? – вспомнил вдруг Беляев разговор с Шахраем.

– Шут его знает, что там есть. Ловят. А что ловят, не говорят. Может, русалок. Кто на флоте служил, пресноводную рыбу не ест. Извини, сосед.

Беляев перебрал оставшийся от прежних хозяев инструмент, выбрал лопату чуть больше сапёрной, с узким штыком и толстым черенком, взял с вешалки замеченный ещё при покупке дома рюкзак-абалак и, чуть помешкав, споро накопал совком червей в мягкой земле под кустом смородины. Снаряжённая складная удочка без дела уже третий месяц валялась в багажнике беляевской «Нивы».

Пока собирался, пока толкал тачку вкосток окаменевших рёбер тракторной колеи во дворе лесопилки, небо затянуло. Вначале накрапывало, затем прыснуло слепо, а только дошёл он до описанной соседом ветлы, застучало в пыль крупными каплями. Беляев примостил тачку в кустах, закидал сверху ветками, накинул на голову капюшон куртки и поспешил по узкой тропе, то и дело задевая локтями серые некрашенные доски заборов.

Берег озера с той стороны, с которой пришёл Беляев, густо порос ивняком, далеко заползающим в воду. В ивняке прорубленная местными жителями короткая просека заканчивалась мостками. А вправо вдоль берега действительно петляла протоптанная в осоке и сныти тропа. Вначале тропа тянулась по задам огородов, но потом резко сворачивала в нещадно замусоренный лес и метров через сто уже уверенно выбиралась к противоположному берегу под соснами. У края озера в месте выхода тропы было устроено кострище, обложенное камнями. По сторонам от кострища три серых от времени бревна. По внушительной горе пустых бутылок и пивных банок рядом Беляев понял, что место популярно. Закапушка с глиной нашлась чуть поодаль. Беляев снял рюкзак, вынул удочку, банку с червями и кусок плотного полиэтилена. Снасти примостил у ствола ближайшей сосны, а полиэтилен расстелил.

Следующие два часа Олег набрасывал глину в полиэтилен, сворачивал, закатывал тюк в рюкзак, относил по тропе к тачке, снимал ветки, выгружал глину в тачку, вновь закрывал ветками и так пока тачка не наполнилась. Дождь не прекращался. Беляев промок. Несколько раз, поскользнувшись, он падал на колени, потому его старые рабочие джинсы, впитавшие воду по самые карманы, оказались ещё и щедро перепачканы глиной и травяной зеленью. Когда Беляев пошёл к закапушке в последний раз, места в тачке ещё хватало, но Олег опасался, что не сможет её даже поднять, не то что толкать.

Дождь вдруг перестал, и стволы рыжих сосен осветило закатное солнце. По поверхности пруда расходились крупные круги. Пару раз раздался сочный плеск рыбы. А может, то жаба прыгнула в воду.

Беляев набрал ещё чутка глины, завязал тесёмки абалака и размотал леску. На веко ему примостился комар, но Беляев только мотнул головой. Он сосредоточенно вязал узел на крючке. Пальцы после долгой работы чуть дрожали. Со стороны дороги слышался грохот пустых фур, срезающих здесь крюк на Муромскую трассу. Где-то между дорогой и озером во дворах отчаянно брехали собаки.

– Ну вот, – тихо сказал вслух Беляев, забрасывая леску в воду, – ловись рыбка большая и очень большая.

Поплавок лёг на воду. Беляев чертыхнулся, что не хватило тяжести грузила, потянул удочку, крючок за что-то зацепился. Он дёрнул посильнее, и в воздух взлетела крупная тёмная рыба. Олег поймал колеблющуюся леску и поднял рыбу к глазам. Рыба оказалась размером с хорошего окуня, на окуня чем-то похожая, но чёрно-зелёная, с пятнами как у щуки, с огромным животом, широкой пастью, полной мелких зубов. Олег на рыбалку по молодости ходить любил, но в Псковской области ловилась краснопёрка да плотва, на блесну приходилось брать щуку и даже судака, а рыб средней полосы он не знал. Вряд ли смог бы отличить язя от головля или жереха. А эта ни на что ему известное не походила, да и выглядела неаппетитно.

Беляев оглянулся по сторонам. Но на озере он по-прежнему был один.

– Да чтоб тебя. Хрен разберёшь, что за рыба. Вроде окунь, но не окунь. Склизкая какая-то. Ну нафиг. Пожалуй, отпущу я тебя. А ты мне за это три желания исполнишь. Договорились?

Беляев держал рыбу под жабры. Та судорожно открывала пасть.

– Пусть эти суки из банка к едреням отстанут, пусть дети у меня появятся и пусть печка не дымит. Или нет. – Олег на миг задумался, потом широко улыбнулся. – Сделай так, чтобы мир во всём мире, все здоровые и счастливые, ну и такое прочее. Хер с этой печкой, сам как-нибудь переложу.

Он опустил на корточки и аккуратно выпустил рыбу в воду.

– Давай, шуруй к своим чудищам.

Тачку толкать оказалось совсем тяжело. Беляев сделал несчётное число остановок, последнюю уже у самого дома, на границе пилорамы. Поставил тачку, сел на уже подсохшие на ветерке и солнце брёвна и задымил электронной сигаретой. Тут его и нашёл Пухов, направлявшийся по этой же дороге в чмарёвский магазин.

– Набрал?

Беляев кивнул на тачку. Пухов поднял полиэтилен, отщипнул от глины и помял между пальцами.

– Самое то. Слушай, а по отчеству тебя как?

– Ярославович.

Беляев удивился вопросу.

– Тебе зачем?

– Сам не знаю. Пока без надобности, но вдруг пригодится, – осклабился сосед.

Он хлопнул Беляева по плечу и пошагал по дороге. Сзади трусила собака. Её донимали блохи. То и дело она плюхалась прямо в глину и начинала их яростно выкусывать.

3

Однажды третья жена Беляева в равнодушии ссоры выдохнула вместе с кислым дымом из тонкой сигареты: «Не поверю, чтобы никто от тебя не залетал. Вы же все без гондонов резвились». Он вдруг обратил внимание на эту фразу, хотя привычно всё сказанное пропускал мимо ушей, не забыл и со временем оформил в навязчивую идею.

Много раз, прежде чем заснуть, Беляев мусолил между век прошлое, тщась увидеть случайную беременность, чей-то скрытый от него залёт. И так и эдак примерял к фантазии и время, и женщин, с коими набралось и к сорока годам не более трёх десятков случайных или отчаянных связей. Но уже мерещилось ему, что была Она! Не то ведьма, не то русалка, не то просто пьяная дурочка-студентка, начитавшаяся Ричарда Баха. Только завлекла, заморочила однажды, запутала, а после оставила, бросила сама, поселив в сердце шипящее, словно радиопомеха, эхо влюблённости, а то и вовсе такой большой любви, которое кардиологи, спустя годы, приняли за незакрытое овальное окно и выписали Беляеву блокаторы кальциевых каналов. Ему даже чудился тёплый можжевельный запах её макушки. И знал он, что родился от той лесной любви сын. Родился и рос без отца где-то в далёком городе или даже в самом Петербурго-Москве, в зеркальном самому себе спальном районе, куда ходит трамвай по широкому проспекту, упирающемуся в Финский залив или Теплостанскую возвышенность.

Часто теперь Беляеву снилось, что они с повзрослевшим уже сыном в разрушенном доме, вокруг кипит бой, а они отстреливаются короткими очередями. И перекидывают друг дружке подсумок с ещё полными магазинами. С одной стороны белые прут, с другой не то красные, не то вовсе какие душманы. Впрочем, не ждать пощады ни от первых, ни от вторых, ни от третьих. И лица сына не различить, на нем «горка» с капюшоном, такая же, как была когда-то у него самого. И уже вот-вот и вспомнит Беляев, кто же была мать, но вдруг разбивается о ночь брошенная небесным пьяницей во двор бутылка, вопит сигнализация, и сна уже нет.

Как-то весенним днём, через неделю как Беляев ненароком сломал забор, в окошко постучался Леонид. На этот раз, вместе с «Судогодским вестником» и квитанцией за электричество, почтальон принёс письмо. Узкий конверт с напечатанной типографским способом маркой и картинкой «вид Енисея». Лёгкий, уверенный почерк. Вместо данных отправителя «от Ярослава». На штампе номер Красноярского почтового отделения.

– С почином, Олег! Первое письмо тебе почти за год. Это дело надо запить.

– Надо... – Беляев растерянно вертел в руках конверт. Он стоял на крыльце в калошах на босу ногу, домашних штанах и ватнике, накинутом на голые плечи.

– Так как? Я уже закончил.

Беляев сделал вид, что не заметил предложение почтальона.

– От кого письмо-то? – Леонид вынул из кармана форменной куртки сигарету и покатал между пальцами.

Беляев пожал плечами.

– Фиг знает.

– Так подписано же!

– Подписано, но я никакого Ярослава из Красноярска не знаю.

– А он тебя знает, – хохотнул Леонид. – Да ты вскрой.

Беляев поёжился от острого весеннего ветерка, сунул руки в рукава ватника и застегнулся. После нашарил в кармане лезвие от старых ножниц, которым по осени скоблил краску с оконных рам в сенях, и взрезал конверт. Леонид обошёл Беляева и заглянул за плечо, вытянув шею. В конверте лежало письмо и цветная фотография. На фотографии оказался сам Беляев, совсем молодой, с дурацкой причёской, какую носил он сразу перед службой, в дымчатых очках и в кожаной жилетке поверх красной клетчатой ковбойки. Беляев на фотографии одной рукой

держал рюмку, а другой обнимал кого-то за столом. Кого-то, от кого в кадр попала только рука. Но судя по тонкому запястью с узкой золотой браслеткой, была это девушка или, вернее, молодая женщина.

– Ты, что ли? Похож. – Леонид сказал это прямо на ухо Беляеву, от чего тот вздрогнул.

В письме, как показалось Беляеву, ждало его какое-то важное известие. Потому, к недовольству Леонида, Беляев листок разворачивать на улице не стал, скоро попрощался и ушёл в дом.

– Так, может, раздавим полбанки? – крикнул Леонид, когда дверь за Беляевым уже почти закрылась.

Олег не ответил и почему-то задвинул щеколду, что обычно делал только когда запирает дом на ночь.

В доме Беляев положил письмо на обеденный стол и для начала поставил вариться кофе. Зачем-то подмёл пол и протёр пыль на тумбочке перед зеркалом. Пошарил на печи, достал пачку пересушенных сигарет «Оптима», которые нашёл при уборке дома. Сам давно уже курил только электронные, но сейчас захотелось крепкого табака. Всё это время письмо лежало на вытертой клеёнке обеденного стола. Нет-нет Беляев украдкой бросал на него короткий взгляд. Забулькал-засопел гейзерный кофейник на плите, кукушка выскочила из часов и сипло прокуковала четыре, зазнобил старый холодильник «Саратов». Беляев налил кофе в чашку, сел на табурет, чиркнул зажигалкой, закурил, сглотнул и выпустил из ноздрей дым и с ленцой, словно бы делал одолжение кому-то, кого в комнате либо не было, либо было не видать, но кто, тем не менее, следил за каждым его жестом, развернул листок.

Письмо было коротким, начиналось словами «Здравствуй, отец!» и заканчивалось пожеланиями скорейшей встречи. Автор вскользь упоминал мать, которая «после переезда в Красноярск (откуда, кстати?) совсем сдала», и два абзаца посвящал описанию собственного одиночества и страстного желания увидеть родного отца.

Олег был ошеломлён, так одновременно вдохновлён и обескуражен, что не мог усидеть на месте. Встал, прошёлся несколько раз по комнате, потрогал ребристый бок голландской печки, заглянул в топку, закрыл, опять потрогал бок, шагнул до плиты, поднял и поставил обратно кофейник и вновь вернулся к печке, чтобы открыть и закрыть топку.

Кого же он пропустил? Кого не различил в долгой своей борьбе с памятью? Что за девушка, из тех, кого обнимал он под одеялом, оказалась настолько хитра или, наоборот, настолько добра и деликатна? Беляев ещё раз пробежался по строчкам письма. Вот же: «Мне сейчас двадцать пять лет!» Двадцать пять!

«Значит, мне было двадцать. Нет. Ещё меньше, потому что беременность. Значит, девятнадцать. Это ещё до армии. Это перед самой армией!» – задыхались в беге мысли Беляева.

Олег почти не помнил, что с ним было в последние два месяца перед армией. Что-то происходило, начиналось без надежды на окончание, бросалось, обрывалось, схлопывалось. Он катался на электричках из Москвы в Можайск или Пушкино, жил в столице на каких-то флэтах, пел на Арбате, возвращался договариваться с преподавателями о зачётах, неделями зависал в общаге у друзей или в дворницкой у знакомого барда. Часто он приходил ночевать не один. Провожал однокурсниц на практику, много пил сухого вина, всякий раз напивался пьяным. Если кто и мог быть потерян и забыт, только в лабиринте тех дней среди случайных собутыльников и кислого дыма смолистых папирос с травой. Потом уже была армия, Кавказ, госпиталь, длинноногая грудастая сестричка Нина Фоменко, в которую были влюблены все на отделении и про которую в курилке парни с перебинтованными конечностями делились самыми скабрёзными фантазиями. Эти фантазии затмевали всё. Они закрывали прошлое и будущее плотной завесой яркого и горячего тумана.

На ответное письмо Беляев решился только к середине апреля. Написал нечто сумбурное, путаное, радостное. Пригласил сына в гости. Заклеил конверт и как-то утром отдал спешащему

мимо на службу Леониду. К тому времени снег уже стаял. Кое-где вдоль заборов лежали покуда терпеливыми снайперами пятнистые сугробы. Один такой, словно раненый лыжник-диверсант, прошитый чёрной дробью, в рыжих пятнах крови рябиновых ягод, прятался с северной стороны дома у входа в погреб. Ствол автомата торчал из него в сторону дороги черенок от лопаты. Дважды в день, утром и вечером, он выцеливал почтальона, уже вновь оседлавшего синий казённый велосипед. Но патронов, чтобы отстреливаться от весны, уже не осталось. И десант зимы помирал тихо, слушая сочный клёкот падающих в бочку капель и разухабистую музыкальную раскидайку беляевского телефона.

Каждый день ещё до полудня телефон обязательно звонил, и на экране выписывалось всё то же: «коллекторы». Звонил телефон словно нехотя, секунд двадцать. На том конце нажимали «отбой», но через минуту звонок повторялся. Потом ещё через минуту, и так пять раз. Но где-то в конце апреля звонки неожиданно прекратились. Наверное, решил Беляев, на него всё же махнули рукой. Он выиграл. Перетерпел.

Как-то в воскресенье после завтрака Беляев раскидывал под яблони то, что осталось от последнего сугроба. Телефон теперь молчал сутками, и, когда вдруг снова зазвонил, Олег бросился из сада в дом, откинув в сторону лопату и снимая на бегу рабочие перчатки. Это был Валера Шахрай. И вот уже весёлый голос бывшего соседа радостно кричал ему в ухо:

– С понедельника у тебя. Найдёшь куда положить? Да! На все праздники! Ещё своих в отгулы отправил. Так что до двенадцатого мая.

4

Кто-то подёргивал, кто-то ходил в толще воды рядом с наживкой, тянул за леску, но не ловился. Наконец поплавок резко ушёл под воду, Шахрай подсёк, и в воздухе сверкнула тёмная патина чешуи.

Рыба была такая же, как попалась по осени Беляеву: чёрно-зелёная в пятнах, пузатая, с большой зубатой пастью и растопыренными в стороны плавниками.

– Ух ты! Ротан! Мировая вещь, если правильно приготовить. Его разные дураки сорным считают, а это самый класс. Деликатес!

Шахрай аккуратно высвободил крючок из рыбьей губы и бросил ротана в ведро.

– А ты говоришь, фигово с рыбалкой! Сейчас наловим с десятков, покажу, как их запекают. Духовка у тебя работает?

Про духовку Беляев не знал. Всю осень и зиму готовил он в печи, чтобы не тратить зря газ.

– В печи ещё лучше, – обрадовался Шахрай, вытер руки о тряпицу и насадил свежего червя.

Но клёв как отрубил. Сколько ни забрасывал приятель поплавок, сколько ни менял глубину, сколько ни плевал на наживку, ни капал чесночным рыболовным соусом, ни заменял червяка опарышем, а опарыш тестом – не клевало.

Беляев сидел на бревне, прижимал ко лбу банку с пивом и смотрел, как приятель переходит с места на место, меняет глубину и наживку. Накануне они крепко выпили за Шахраев приезд, ходили уже вместе с Пуховым в магазин за добавкой, пели, сидя в огороде, пока пуховская жена не погнала их матом.

Шахрай приехал на поезде, свой «Лендровер» он отогнал на сервис. Беляев встретил приятеля на вокзале во Владимире и до самого поворота на Трухачёво слушал горячий монолог про то, что превращают Москву «чёрт знает во что» и про то, что «никто не хочет работать». Пока жили они в соседних квартирах, Беляев от бесед про политику порядком устал. Но тут, соскучившись за год по запыхающейся Шахраевой скороговорке, слушал с радостью, даже кивал и поддакивал. Стоило, впрочем, свернуть с трассы и покатить солнечной петляющей дорогой мимо деревень со старыми тёмными избами, мимо соснового бора, мимо заросших березняком покосов, и на приятеля снизошло умиротворение. Он вдруг улыбнулся, сказал: «Да и хер с ними», опустил стекло со своей стороны и дальше задумчиво то и дело повторял: «Красота какая! Красота!»

– Что же ты будешь делать! – кипятился Шахрай, в очередной раз перебросив удочку. – Прав почтальон твой, надо ехать на Клязьму. Тут, похоже, мы единственного ротана поймали. Да, это вам не моя Волга.

Леонида приятели встретили утром, когда, тяжело вздыхая, шли через пилораму в магазин, прихватив удочки. Он догнал их на велосипеде.

– На Войнингу, что ли?

– Не, вон на наше озерцо.

– Бог в помощь. Но это не рыбалка.

– Куда ехать-то? Научи!

– На Клязьму поезжайте, за Боголюбове, где Нерль впадает. Нерль холодная, Клязьма – тёплая. На границе температур мелюзга кормится, потому вся щука там. Хочешь на спиннинг, хочешь на фидер. Это уже к чему привык.

Беляев с трудом сдерживал икоту. Вчера он уже обещал отвезти Шахрая на Клязьму, но утром понял, что за руль не сядет.

– Это, кстати, тебе. – Леонид вручил Беляеву конверт. – Опять из Красноярска. Кто пишет-то, выяснил?

– Да так, – промямлил Беляев, – сын.

– Ты же говорил, бездетный.

Беляев развёл руками.

– Оказалось, не совсем.

– Ну, поздравляю!

Беляев пожал протянутую ему почтальоном руку.

– Бывай, папаша, но от проставы не отвертись. С тебя причитается.

Леонид вскочил на велосипед и резво покатил по бетонным плитам бывшего тока.

– Ого! – присвистнул Шахрай. – Какие новости. И от кого ребёнок?

– Кабы знать. Да и неудобно спрашивать. Не ребёнок уже. Взрослый человек. Вот приедет...

– Уже приедет?

– Пригласил. Если приедет, спрошу как-нибудь поделикатней.

Он сунул пока письмо во внутренний карман, а теперь, слушая, как Шахрай чертыхается, меняя наживку, вспомнил про него, достал и вскрыл ножом конверт. Ярослав писал, что отпросился с работы на несколько дней и прилетает третьего числа. Встречать не просил, мол, доберётся сам.

Третье было сегодня.

«А ну как он уже тут, а мы на рыбалку упёрлись, – подумал Беляев. – Хорошо, что на Клязьму не поехали и на Судогду не пошли».

– Ну как там у тебя? – окликнул он приятеля.

Шахрай не ответил. Беляев заглянул в ведро. Единственный ротан завис, расправив плавники, посередине круга, в котором отражалось небо. Олегу вдруг померещилось, что была это та самая рыба, которую поймал он в прошлый раз. Та, которой нащептал всякие глупости куда-то за левую жабру, прежде чем отпустить в озеро.

– И что же, есть тебя теперь, что ли? – пробормотал Беляев, взял ведро обеими руками, прошёл с ним за куст и аккуратно, чтобы не плеснуть, выпустил рыбку в воду.

– У тебя кошка есть? – крикнул Шахрай из-за куста.

В голосе звучала досада.

– У Пухова есть, у Афонина кот. Вообще много кошек по участку бродит.

– Придётся им отдать. Или вон собаке пуховской скормим. Уже полдень. Клёва не будет. Из-за одного нечего возиться. Где ведро-то?

– Ведро вот. – Беляев показал пустое ведро. – А ротана выпустил, не надо собаку баловать, гадить от сырой рыбы будет. Пойдём, что ли? Сын, оказывается, сегодня приезжает.

Шахрай присвистнул и принялся собирать удочку.

На обратном пути опять сделали крюк до чмарёвского магазина. К одиннадцати часам в винный отдел уже выстроились деревенские мужики и дачники с трудными лицами. Беляев набрал всякой еды для торжественного обеда по случаю приезда сына, тут подошла очередь в винный. Олег взял водки, а Шахрай заказал пять литров разливного «лидского». Пока улыбка продащица наливала в пластиковые бутылки пиво, Беляев смотрел на прилавок с детскими игрушками, леденцами и жевательной резинкой.

Невозможно было представить сына взрослым. Только маленьким. Таким, который будет рад шоколадному яйцу с игрушкой внутри или тюбику мыльных пузырей. Кто-то другой, возможно, дарил мальчику эти подарки. Сам Беляев тоже несколько раз приносил игрушки детям. Это были дети знакомых. Он всегда покупал подарок в том же магазине, в котором коньяк, и, когда открывалась дверь, вручал коньяк родителям, а игрушку ребёнку, спросив «как тебя зовут?», и, не расслышав ответа, шёл к столу.

Теперь его сын пишет взрослым аккуратным почерком, и покупает билет, и летит через половину страны, из далёкого сибирского Красноярска. Пусть он совсем самостоятельный, но

ведь был маленьким. Некий мужчина, но не Беляев, водил его в детский сад по утрам, потом в школу. Кто-то другой проверял дневник и делал вместе домашние задания. А может быть, и не было никого? Только мать-одиночка, от которой всего и осталось для Беляева в памяти – тонкое запястье с браслетом на фотографии.

Назад Беляев повёл Шахрая другой дорогой, через поле, мимо сеносушильни, вдоль забора коровьего выпаса по тропе, проложенной между двумя тракторными колеями. Когда, миновав огромные терриконы из обрезков пилорамы, они по ещё не успевшей до конца высохнуть дороге поднялись на холм к коровникам, то сразу увидели стоящий перед беляевским домом незнакомый чёрный «Шевроле». Вдоль дома, заглядывая в окна, ходил мужчина.

– Это Ярослав! Мой сын! Приехал на такси! – обрадовался Беляев. – Эгей! – Беляев замахал рукой.

Они ускорились. Наконец Олег побежал. Сзади поспевал Шахрай, звеня бутылками в пакетах.

Мужчина заметил приближающихся к нему, но двигаться навстречу не спешил. Уже шагах в пятидесяти от дома Беляев понял, что это не может быть сын. На вид мужчине было лет сорок или даже чуть больше, был он крепкого телосложения, одет в светлые джинсы и застёгнутую на молнию короткую куртку из чёрной плащёвки.

– Здравствуйте, вы кого-то ищете? – Беляев остановился, не дойдя до «Шевроле», согнулся, оперев руки в колени, и пытался отдышаться, в то время как Шахрай с пакетами, мрачно взглянув на мужика, прошёл сразу в дом.

– Мне Беляева, Олега Ярославовича. – Голос мужчины был до хруста официальный.

– Это я, – улыбнулся Олег.

– Ну что же, Олег Ярославович? Проблемы у вас.

Беляев выпрямился и растерянно посмотрел на мужика.

– Как же так, деньги у банка под выпуск журнала заняли, а отдавать не собираетесь? У вас уже и проценты под полмиллиона накопились. Надо решать это дело по-хорошему. Когда будете оплачивать?

– Ав чём, собственно, дело? – начал было Беляев, но тут с крыльца спустился Шахрай и отстранил Олега рукой в сторону.

– Как зовут тебя, убогий? – Шахрай нехорошо улыбался.

– Павел Евгеньевич, а вы, собственно, кто?

– Паша-коллектор, стало быть. – Шахрай сплюнул в песок. – Откуда ты к нам, Паша-коллектор?

Тот неразборчиво назвал агентство. Шахрай показал пальцем на ухо и попросил повторить. Коллектор повторил.

– Сейчас я тебя, Паша-коллектор, буду уму-разуму учить.

Без лишних слов Шахрай поднял с земли штaketину от забора, размахнулся и разбил левую фару «Шевроле».

– Любезный, что вы себе позволяете?!

Коллектор попытался поймать руку Шахрая, но тот легко оттолкнул его и разбил вторую фару. На звук выбежал со своего двора Пухов. Быстро оценил обстановку, выдрал из колоды топор, подскочил к машине сзади и с радостным криком «бей блядей!» разбил вдребезги правый габаритный фонарь. Запертая на веранде пуховская собака зашлась в лае. Снизу от источника уже спешил Леонид, на ходу заталкивая патроны в ружьё.

– Да я вас всех! – Коллектор расстегнул молнию на куртке, чтобы нападавшие увидели рукоятку травматического пистолета в наплечной кобуре.

– Лучше бы ты этого не делал. – Шахрай коротко выматерился и вдруг резко провёл серию из трёх ударов. Первые два в висок, третий снизу в подбородок.

Паша-коллектор упал, тут же попытался встать, снова упал, потряс головой и поднялся, уже держась за дверь автомобиля. В это время Леонид, который достиг уже забора пуховского участка, пальнул дуплетом в воздух. Эхо прокатилось по крышам и оттолкнулось от ржавой громады тока.

– Мудаки! – Коллектор взвыл этим «у», прыгнул на водительское сиденье и завёл двигатель.

– Куда собрался? – неожиданно высоким голосом заверещал Пухов. – Я тебя ещё не отпускал.

Он ухватил мужика за воротник и попытался вытащить из машины, но тот оттолкнул нападавшего и резко дал задний ход, захлопывая дверь на ходу. Машина дёрнулась и со всего маху снесла последний, одиноко стоящий среди покошенной лужайки синий столб бывшего забора. Водитель переключил передачи, «Шевроле» с проворотом стартанул со двора, выдрав из глины короткостриженую траву, выбрался на дорогу и поскользился вверх по суглинку к бывшим коровникам, туда, откуда пришли Беляев с Шахраем. Выпрыгнувшая из окна собака мчалась следом, отчаянно лая.

– Ах, ты! Не успел. – Леонид запыхался и сглатывал вместе со слюной гласные.

Пухов поднял руку вверх и потряс топором, как индеец томагавком.

– Это кто хоть был-то?

– Коллектор. – Беляев стоял, ошарашенный произошедшим.

– Коллектор – на херу инжектор, – заржал Шахрай. – Давно я такого ждал. Как же хорошо! Жаль, гад удрапал быстро, не дал размяться. Не, ты видел? Волына у него в кобуре торчит. Совсем совесть потеряли. Сейчас не девяностые. Скоро-скоро мразь из страны попрём. Ссудный процент у них! Гниды! Тянут с православного человека жилы, дерут три шкуры. Запустили козлов в огород.

– Теперь, Олег, от проставы не отвертишься. – Леонид, широко улыбнувшись, переломил двустволку, вынул гильзы, дунул в стволы и посмотрел сквозь них на трубу беляевского дома.

Через час они уже прикончили пиво и водку и, взбудораженные, всей компанией отправились в магазин. С самого утра дрейфующие туда-сюда над Мещерой облака собрались наконец в серую губку и выжали вдруг на Селязино удалой майский ливень. Подгулявшие приятели успели добежать до навеса, где обнялись и грянули «Варшавянку». Собака, увязавшаяся за ними, удивлённо смотрела на поющих и трясла мордой, вокруг которой вилась мошка. До магазина шли бодро, поскользываясь на глине, поддерживая друг друга. Шахрай провалился в особо глубокую лужу, съехав по краю, потянул сухожилие, но, только выбрались на бетонку, все перешли на марш и лихо затянули: «Ладога, родная Ладога. Метели, штормы, грозная волна».

Пока дошли до магазина, Шахрай уже сильно хромал и морщился.

– Тебя надо в источнике купить, – со знанием дела сказал Пухов. – Целебный источник, на опорно-двигательное влияет.

– Тут вообще целебные места, – неожиданно для себя изрёк Беляев. – Из Москвы приезжают.

Забив сумки и рюкзаки водкой, они проскочили свежесфальтированным тротуаром мимо жёлтых пней спиленных по указу начальства и отвезённых на пилораму двухсотлетних сосен, перешли дорогу и срезали тропой вдоль храма. Оказавшись рядом с аккуратно белёной кладбищенской оградой, чуть примолкли, в почтении. Беляеву почудилось, что каждый готов был остановиться и осенить себя знамением, но постеснялся остальных. Да и ладно бы с тем. В молчании спустились они по каменным ступеням к Войнинге, к небольшой часовне, воздвигнутой над источником.

– Тут пьяным нельзя, – веско заметил Леонид. – Отец Михаил увидит, заругает. Так что только Беляев и ты. – Он указал на Шахрая.

– А мы что, трезвые? – Шахрай уже расстёгивал рубашку.

- Вы болящие. Ты хромый, а сосед наш душой неспокоен.
- За психа держите? – скривился Олег.
- Не митингуй. Лезь в воду. Тебе в самый раз.

Друзья перекрестились, скинули одежду на скамью и по узким деревянным ступенькам один за другим спустились в купель.

Вода показалась холодной до густоты. Беляев почувствовал ногой последнюю ступеньку, охнул, скоро перекрестился, зажал нос пальцами и рухнул в воду купели, как в вязкий кисель.

Пронзённый тысячами игол, в пене и пузырях вынырнул, выжал с горячих альвеол слова молитвы и ахнул: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного и помоги мне, недостойному рабу Твоему Олегу! Избави мя от всех навет вражьих, от всякого колдовства, волшебства, чародейства и от лукавых человек, да не возмогут они причинить мне некоего зла!» – вновь погрузился с головой в купель.

5

Возвращались по дороге, ведущей через чмарёвский лес до Подолья. Не доходя крайних дворов, свернули наискосок вверх по полю к тому месту, где насупившийся березняком холм сжимал кулаки из отходов лесопилки. Шахрай, идущий перед Беляевым, почти не хромал. В его рюкзаке уютно постукивали бутылки с водкой. «Хорошо для опорно-двигательного», – пробормотал под нос Беляев.

Солнце застряло где-то за водонапорной башней и не решалось, то ли закатиться, то ли остаться до утра. Пухов с Леонидом, оторвавшиеся далеко вперёд, вдруг остановились на середине подъёма, там, где дорога делала петлю, и теперь что-то обсуждали, размашисто жестикулируя. Когда Беляев и Валера поровнялись с ними, за огромной, в трёхэтажный дом, горой обрезков увидели давешний чёрный «Шевроле», увязший в грязи по самые оси, в кабине пусто, двери закрыты. Видно было, что водитель долго и тщетно боролся, подкладывая доски, их много валялось вокруг, запачканных и со следами протектора.

– На пилораму, наверное, пошёл, за трактором. – Пухов наклонился и попытался заглянуть под днище. – На брюхе сидит.

– Что его сюда понесло? Дорога непроезжая. – Леонид закурил.

– А ему откуда знать? Вон, этот, – Пухов показал на Шахрая, – как врезал, тот и усигал. Ты ещё палить начал. У человека, может, чуть разрыв сердца не случился.

– Не случился. Я в командировках под пулемётные очереди спал. – Коллектор появился из-за досок, на ходу застёгивая штаны.

Губа его была разбита и сочилась кровью. На лбу расцветала большая неровная гематома.

– Увяз? – Беляев кивнул на машину.

– Сами не видите, Олег Ярославович?

– Вижу.

– Зачем спрашиваете? Ещё хотите побезобразить с друзьями? Теперь мишень лёгкая. Можете стёкла побить или дверь прострелить. Не стесняйтесь, приступайте.

Беляев промолчал. Ему стало стыдно. Их такая неожиданная победа вдруг показалась расправой гопоты над случайным прохожим, когда вчетвером на одного.

– Обиделся, что ли? – Тут Шахрай снял с плеча рюкзак с бутылками и аккуратно поставил рядом с собой на землю. – Это ты зря. Сам виноват. Работа у тебя собачья, вот и отношение как к собаке.

– В ментах не лучше было. И стреляли в меня, и били, и прокуратуру натравливали.

– Где служил, коллега?

– Саратовский СОБР, потом УБНОН после реформы. Уволился капитаном.

– Ав коллекторы тебя что понесло?

– Двое девок маленьких, зарабатывать надо. Садик, школа, музыкалка, кружки, костюмы на праздники. А это деньги. Да и психованные вроде вас редко попадают. Обычно несчастные, запутавшиеся люди. От хорошей жизни да от жадности в долги не залезают. Ты, что ли, тоже мент?

– Валерий. – Шахрай протянул руку. – Питерский ОМОН. Майор. Извини за это. Давай, вытолкаем тебя.

Но даже впятером, матерясь, поскальзываясь и попеременно меняясь за рулём, сдёрнуть машину не получилось. Сидела она плотно, как приклеенная.

– Тут трактор нужен, – веско сказал Пухов.

– Так иди. – Леонид кивнул головой в сторону видневшихся коровников, за которыми жужжала пилорама. – Там твой брательник.

– Так это поллитра.

– Я заплачу. – Паша-коллектор достал из кошелька триста рублей.

– Жирно ему будет, неча баловать. – Пухов двести рублей сунул в карман, а сотку вернул. – Ну я пошёл.

Пока ждали трактора, Паша-коллектор сидел на корточках и гладил пуховскую собаку. Та завалилась на спину и расставила лапы, подставляя розовое пузо.

– У меня первая должность была милиционер-кинолог. Потом уже СОБР, Кавказ, а потом и в участковые подался. А как пошли очередные реформы, ушёл сам, не дожидаясь, что выпрут. Вначале пытался в охрану устроиться, но в Москве без блата нет шансов. Можно подумать, что вся страна сюда ездит охранять. А если присмотреться, не работа это, да и не деньги. Вот и устроился в агентство. Шесть лет как. Старожил.

– Я уже кандидатом наук был. А когда вся наука закончилась, сразу в ОМОН и устроился. И тоже командировки, реформы, вся эта муть. До майора дослужился, и вовсе неведомо стало. Но в коллекторы не пошёл, хотя звали. – Шахрай задумчиво потёр подбородок. – Зачем мне это? Человеком нужно оставаться.

– Будто я не хочу человеком, – обиделся Паша-коллектор и посмотрел почему-то на Беляева.

– У тебя, капитан, отговорки да оправдания. – Шахрай сел на доски, снял сапог и вытряхнул из него всякую труху. – Сам в глубине души знаешь, что на зло работаешь, не за справедливость.

– Всё по закону, майор. При чём тут зло?

– При том, что закон, как мне говорил один умный человек, которого я на десять лет закрыл, – это описанное в юридических терминах понятие народа о справедливости. А какая справедливость, если людей до крайности доводят? И кто доводит? Да те, кто, когда остальные голодают, жрут чёрную икру и копчёное вымя сайгака, а деньги отправляют по проводам в свою границу.

– Я не голодаю, – вставил слово Беляев, – но деньги не отдам. Потому что журнала у меня больше нет, прогорел. А если отдам, то вынужден буду продать всё, что у меня есть, и пойти побираться. Не отдам, хоть убивайте. Мне всё равно.

– А ему всё равно, что с тобой станет. – Шахрай надел сапоги, встал на ноги и потянулся, разминая спину. – Ему надо на платья дочкам к отчётному концерту в музыкальной школе заработать.

– Ты меня, майор, не стыди! Я сам знаю, что делать.

Беляев посмотрел в сторону, в которую ушёл Пухов. Там, за холмом, послышалась перегазовка мощного тракторного мотора.

– Олег Ярославович, папку с вашим делом положу в середину стопки, где полный тухляк. А в базе электронной укажу, что по адресу этому в деревне Селязино Судогодского района Владимирской губернии проживает полный тёзка клиента. Не заслуживаете вы такого, конечно, но раз мы с вами в одной жиже глиняной толчёмся, грех мне с вас денег требовать.

Рано или поздно всё равно кто-нибудь из новичков эту папку откопает и начнёт заново.

– Может и не откопать?

– Всякое бывает. А вы свечку поставьте. Говорят, помогает.

Трактор зацепил «Шевроле» тросом за фаркоп, рыкнул, выпустив в прозрачный вечерний воздух облако дыма и сажи, и аккуратно попятился на холм. На самом верху у раскидистой старой ветлы трос отцепили, и дальше автомобиль уже своим ходом вскарабкался на лужайку перед домом Беляева.

– Ну вы как? Посидите с нами? – Беляев подошёл к машине с водительской стороны. Он чувствовал себя виноватым.

Паша-коллектор вылез из кабины, стукнул Беляева кулаком в плечо.

– Веди. Кстати, я вас вспомнил, – он обратился к Шахраю. – Вы на Юго-Западе живёте. Я выпасал, когда со своим мопсом на прогулку уйдёте, чтобы пеной дверь заблокировать.

– Да ладно! – присвистнул Пухов. – Взаправду пеной? Ну и дела!

– Ко мне же сын сегодня должен был приехать! – вспомнил вдруг Беляев через пару часов сидения за столом и захлопал руками по карманам в поисках телефона.

– Олег Ярославович, вы прямо как дитё малое, даже неловко за вас. – Коллектор поставил на стол рюмку, макнул в неё уголок платка и приложил к разбитой губе. – Ну какой сын? Это я вам письма писал. А фотографию в социальной сети взял у вашей однокурсницы. Нельзя быть таким легковёрным.

– Вот же сука ты, Паша-коллектор, мало я тебе врезал. – Шахрай показал коллектору кулак. – Человек понадеялся, что не одинок, а ты... Ничего святого.

– Работа такая. Как рыбак. Насадил червяка, закинул в сеть. Вот я дал объявление, дескать, такой-то и такой-то, ищу своего отца, который покинул нас с матерью девятнадцать лет назад. Мать больна, почти при смерти, а сам вот-вот останусь совсем один. Помогите найти Беляева Олега Ярославовича, тысяча девятьсот шестьдесят девятого года рождения. Месяц только повисело, а мне уже адрес и номер телефона Олега Ярославовича прислали сердобольные его товарищи.

Беляев растерянно посмотрел на Шахрая, но тот недоумённо развёл руками.

– Вот ведь, – крикнул Пухов, – выходит, я виноват. Прости, сосед. Сам же говорил, что жалеешь, что детей вовремя не родил, но думаешь, авось есть где-то у тебя ребёнок, только сам просто не знаешь. Говорил же?

Беляев кивнул. Ему стало зябко на душе.

– Ну вот. Весной ещё было. Катька моя, дочка, в интернете увидела фотокарточку эту, – он кивнул на стоящую на столике у зеркала фотографию Беляева с ребёнком. – И там ещё имя-отчество-фамилия. Думаю, растёт где-то сынок без отца, тоскует. Ну я в тот же день у тебя отчество спросил и написал в интернет. Здравствуйте, мол, живёт тут такой. Вот, мол, телефон и адрес. Кто же знал, что этот проходимец заявится?

Всё, что Беляев себе то ли от простоты душевной, то ли от душевной усталости нафантазировал, всё оказалось ерундой. Глупой ерундой по случайному совпадению или по воле зелёной склизкой рыбы. И было это одновременно обидно, смешно, горько, стыдно и почему-то приносило облегчение. Беляев потянулся к столу, разлил всем по стопке.

– Я перед тем, как ты меня про отчество спросил, в нашем озере ротана поймал, загадал три желания и отпустил. Первое, чтобы вот эти суки из банка отвязались, а второе, чтобы дети у меня появились. Ну, не родились чтобы, а типа нашлись.

Мужики выпили, поморщились и с сочувствием посмотрели на Беляева.

– А сегодня вон он, – Беляев бутербродом указал на Шахрая, – ротана этого опять поймал. А я его опять выпустил.

– Думаешь, тот же? – Шахрай повертел в руках пустую рюмку и посмотрел в окно. Вот же чудик. А третье желание какое?

– Не поверите, – Беляев смутился, – чтобы войны не было.

Все почему-то притихли. Стало слышно, как на том краю деревни кто-то стрижёт электрической косилкой траву.

– Да ну тебя! – махнул рукой Пухов. – Дурак какой-то. С чего ей быть-то, войне? Не, не будет никакой войны.

– Да уж, Олег Ярославович, – коллектор взглянул из-под ладони, которой прижимал ко лбу мокрую тряпку, – святая душа! От таких святых душ одни неприятности. Нет чтоб денег попросить. Ну не появились у тебя деньги, не появятся никогда, да и фиг с ними, и с тобой. А тут нервничать начинаешь. У меня же, в отличие от тебя, дети.

– Не будет войны, – уверенно констатировал Леонид. – Пятый год что в Чмарёве, что в Судогде только девочки рождаются. Даже у меня внука.

– Ав Селязине? – зачем-то спросил Беляев.

– В Селязине одни колдыри да пенсионеры, куда им рожать-то? – ответил за почтальона Пухов. – Только моя Катька в девках. Так ей ещё два класса школы.

– Правильно, – кивнул Леонид. – Ты, Пухов, конечно, не расслабляйся. Видел я твою Катьку на сеносушильне в субботу, после танцев, с одним нашим селязинским орлом. Но если девочка родится, то войны точно не будет.

Все, кроме Пухова, заржали в голос.

– И нормального урожая белых грибов давно нет, – как ни в чём не бывало продолжил Леонид, когда присутствующие отсмеялись. – Лисички до осени собираем. Какая война-то? Ты с кем воевать собрался, Олег?

– Ни с кем. Вот и попросил мир во всём мире. – Беляеву стало совсем неловко.

– Приду домой, всыплю засыхе. – Пухов хлопнул ладонью о колено.

– Городские люди, а такие дураки. – Леонид сунул руку в сумку и достал очередную бутылку. – Да и мы, Пухов, не лучше. Вы чего, всерьёз решили, что ротан волшебный? Вроде водку пьёте, а не тёти Маши самогон. Да я в том озерце по юности мотоцикл отчимовский утопил. Звездюлей мне отчим тогда волшебных отвесил. До сих пор вспоминаю. Серьезное было волшебство, когда он меня аккурат на Рождество в одних трусах от Подолья до Радостева ремнём гнал и не догнал. Догнал бы, убил к эдакой матери. Мы потом тот мотоцикл всем классом доставали.

Все вдруг загомонили, зазвенели стаканами и рюмками, зашуршали стульями.

Беляев выбрался из-за стола и вышел во двор. Перед домом у единственного столбика, оставшегося от забора, стоял «Шевроле» Паши-коллектора. С разбитыми фарами он был похож на понурую, привязанную лошадь. Уютно гудела пилорама. За Судогдой ухали басы дискотеки на базе отдыха. Под фонарём стучались о пластиковый кожух мотыльки. Из-под листа шифера, накрывающего дровник, виднелся нос пуховской собаки. Войны пока не было.

6

Беляева отец Михаил в своём храме видел лишь единожды на Пасху. До того, ещё осенью, на Покров, слышал, как тётки в магазине болтали, мол, городской баламутит местную публику. Но это, наверное, врал. Кто поперёк телевизора да интернета способен взбаламутить мужика? Спросил как-то про него у Шахрая. Тот ответил, что были соседями в Москве. Раньше, дескать, Беляев издавал журнал научно-популярный, катался по миру, но потом прогорел, что немудрено.

Перед поездкой в Тутаев подумывал отец Михаил завернуть в Селязино, поинтересоваться у Беляева, не нужно ли что передать их общему приятелю. Но за делами по храму об этой своей идее забыл, вспомнил уже вечером, когда запирали церковную калитку. Махнул рукой, поспешил домой, собираться в дорогу, и перед собственными воротами встретил Беляева, попыхивающего электронной сигареткой. Тот держал в руках небольшой пакет, замотанный скотчем. Поздоровались.

– Добрый вечер, отец... – Беляев замялся, – ... Михаил Константинович. Я Олег Беляев. Валера Шахрай, который оказался нашим общим знакомым, говорит, вы к нему собрались. Не сочтёте за труд передать бандерольку?

– Не бомба? – Отец Михаил улыбнулся и в шутку взвесил на ладони пакет. Пакет оказался увесистым.

– Нет, просто железяка одна. Шахрай, когда у меня гостил, забыл. Не хочется с почтой связываться.

Отец Михаил достал из багажника сумку с облачением, сунул в неё свёрток и бросил сумку на заднее сиденье.

– Могу и вас с собой захватить. Вдвоём в дороге веселее. А в субботу к вечеру уже и обратно.

Беляев замялся, не решаясь. Было заметно, что ему очень хочется поехать, но что-то удерживает.

– Не могу, Михаил Константинович! В другой раз. Соседям пообещал. Надо вопросы порешать по-городскому, по-московски. Не отлучиться. Не будь новых забот, с радостью принял бы приглашение. А так счастливо доехать. Путь неблизкий, часа четыре минимум. Кстати, как планируете, через Юрьев-Польский огородами или через Иваново?

Отец Михаил маршрут до Тутаева представлял только в самых общих чертах. Но заранее решил возвращаться обратно через Юрьев-Польский, чтобы заехать в тамошний монастырь обнять знакомого игумена. Отец Михаил полез в бардачок, вынул карту, расстелил на крыше «Логана», и Беляев стал показывать, что правильно и быстрее добираться до Ярославля через Суздаль.

Когда прощались, Беляев опять замялся, и отец Михаил первым протянул руку.

– Вы же православный, Олег? – Отец Михаил удержал ладонь Беляева в своей.

Беляев кивнул утвердительно.

– Приходите в воскресенье на службу. Дела делами, а важное забывать не следует.

– Это конечно... – протянул Беляев.

– Вот и приходите.

Не доезжая Иванова, навигатор вдруг изменил маршрут и указал левый поворот. Отец Михаил предпочитал не доверять алгоритмам, но сейчас послушался, за что через пять километров проклял и Яндекс, и дорожников, и себя самого. Это была дорога на Ростов через Ильинское-Хованское, может, и самая короткая, но, похоже, самая разбитая в этих местах. Словно бы петляла она не между заросших борщевиком опушек чахлах рощиц, а между июнем и августом какого-нибудь девяносто второго года и казалось, замышляла подлости. То выбра-

сывала лихую фуру из-за поворота на узком участке, то вдруг после относительно гладкого подъёма за новым пригорком обращалась в перемолотую миномётным и гаубичным огнём разделительную полосу между двумя невидимыми враждующими армиями протяжённостью в километр. Всякий раз, когда отец Михаил не успевал сбросить скорость, колёса бедного «Логана» с ударом проваливались в очередную рваную рану. Внутри, в промежутке между сердцем и предстательной железой, в унисон с подвеской охало требухой. Он шипел, ругался и призывал на головы неведомых чиновников страшные небесные и людские кары. На иных участках скорость вряд ли превышала пять километров в час.

Отец Михаил представил, как по ночам за обочинами этой дороги прячутся лихие люди. Всякая богатая иномарка, осторожно нащупывающая фарами единственно возможную стёжку между ямами, превращается в лёгкую добычу. Что стоит выбраться незаметно из-за придорожных кустов, растущих с обеих сторон от насыпи, раскрыть вначале пассажирскую дверь, а когда несчастный, растерявшись, нажмёт на тормоз, вытащить его уже с водительской стороны. Всё, что в машине – добыча, машина – добыча, сам водитель – жертва обмана, чужой, далёкой от этих мест алчности. И чем злее жизнь, чем подлее законы и отвратительней ложь правителей, тем ближе кажутся времена, когда по дорогам будет вовсе не проехать. И никакой силы не хватит те дороги охранить, когда доведут городские бездельники человека до греха, и самый последний крестьянин, отчаявшись прокормить семью, с наступлением сумерек заперев дом, отправится вместе с односельчанами на гнусный промысел. А станет совсем немого, запылают торчащие среди низкорослых крестьянских изб богатые добротные дома из оцилиндрованных брёвен, полопаются под ковшами тракторов-петушков высокие жестяные заборы коттеджных посёлков. Потому что если есть что у человека на земле от Бога, так это справедливость. Нет справедливости, нет человека. Так уже было в начале прошлого века, и в конце его тоже, и раньше, и вовсе раньше. Стало быть, в конце каждого времён. И так будет снова.

Но кто посмеет осудить человека? Кто упрекнёт его, готовящегося отправиться на погост в ящике из необрезной дюймовки, в кузове серой «буханки», бывшей когда-то скорой помощью у вечность назад закрывшейся деревенской амбулатории, под плач рано поседевшей и истончавшей болезнями жены и давно выросших и так же давно спившихся в безнадёге детей? Кто предъявит ему список грехов, совершённых им в трудной его жизни без любви и исхода? Разве позвать к такому бедолаге священника, чтобы исповедовал да причастил, а потом чтобы рыдал, забыв, что поспешает домой к матушке и горячему борщу на обколоте гормонами курином мясе. Чтобы рыдал и грозил кулаком в небо, давно закрывшее все свои окна над этими заросшими борщевиком и берёзкой полями, заколотившее двери в рай крестами и рухнувшее однажды не великим потоком, а тревеликой сушью.

От той суши и растрескался асфальт на дороге, покрошился бетон. От той суши и жажда, с раннего утра до позднего вечера которую не залить ни пивом из полиэтиленовых бутылей, ни картофельным самогоном, ни химической водой из маленьких пузырьков с яркими пробками. И когда отец Михаил, решив купить бутылку кваса, остановил автомобиль возле сельского магазина с коричневой железной дверью, в рекламе сотовых операторов, перед тем как глотнуть, нахлебался ненависти. Ненависть хлынула из-под век не знакомых ему мужиков, только что на пару высыпавших в ладони продавщицы горсть мелочи, ровно-ровно на бутылку «Русского Малюты». И увидел в окно, как они, прежде чем скрыться за ближайшей калиткой, харкнули ему на ветровое стекло.

Отец Михаил выехал из Чмарёва сразу после пятничной утренней службы и надеялся попасть в Тутаев к обеду. Однако вместо двух с половиной часов дорога только до моста через Которосль заняла почти пять. С запада, со стороны Москвы, надвигалась чёрная, в две трети неба, туча. Её было видать в боковые зеркала. Отец Михаил ещё надеялся успеть до ливня переехать Волгу, но трасса Му, на которую он выбрался далеко за полдень, оказалась нашпигована радарными. Детектор то и дело пищал.

Отец Михаил подумал, что зло и добро всегда кормятся с дорог на пару. Добро продаёт яблоки, картошку и дубовые веники, зарядные устройства для всякой электроники или пирожки с рисом и яйцом, тогда как зло покупает у государства лицензию на грабёж, обзаводится аппаратурой на треногах, которую расставляет по обочинам, и вот уже в жадные кошельки текут электрические деньги от торопящихся водителей. Подлейшая сучья работа – кусать своего.

Промеж водителей ещё с весны ходили слухи, что мужики с дальних пригородов столицы, где работы нет по три десятка лет и жителям которых ежедневно приходится отправляться за полторы сотни вёрст, чтобы часами глотать ртуть и гарь в пробках на подступах к Москве, уже собираются в команды и, скрыв лица под строительными респираторами, крушат дорогостоящую технику и бьют стёкла дежурных машин при радарных комплексах.

Говорили и про отряды мстителей, взрывающих вышки сотовой связи, устраивающие засады на фуры, принадлежащие крупным торговым сетям, разорившим местных фермеров, сделавшим бесполезной любую работу на своей земле. Водил не трогали. Когда фуру отгоняли куда-то на лесную дорогу, на пару сотен метров от трассы, они стояли в сторонке, отдав нападавшим свои телефоны, и курили, наблюдая, как расторопные налётчики в полинялых охотничьих костюмах грузят коробки из шаланды в кузова «газелей» и «ларгусов».

Крестьяне же по сёлам массово обзаводились пока ещё разрешёнными арбалетами и охотничьими рогатками, чтобы отстреливать дроны, с некоторых пор шнырявшие над домами. После таких полётов в почтовые ящики приходили квитанции о штрафах за перенесённые заборы, нерегистрированные хозяйственные постройки или сжигаемый мусор. Говорили, что огромные компьютеры, на которые потрачены миллиарды и миллиарды собранных с населения налогов, сами сравнивают данные дронов со снимками пятилетней давности, полученными со спутников. Дроны отстреливали повсеместно. Их разбирали на детали. Возле рынков в районных центрах появились будки, где можно было отремонтировать и перепрограммировать сбитый дрон, чтобы приспособить его для собственных нужд или по дешёвке продать дачникам. Пущенные на поиски пропавшей техники полицейские наряды возвращались ни с чем. Впрочем, искали нехотя: менты были из тех же мест.

Чтобы условиться о совместном промысле, никому вдруг оказались не нужны телефоны и интернет. Ленивых по деревням не осталось. Договаривались, как в былые времена, когда всей этой электрической лабуды и не было. Собирались и молча шли или ехали, словно бы на рыбалку или дальний покос. Нынешние же опричники, призванные охранять и карать, давно потеряли навык работы «на земле», в собственной чванливой избранности тщетно шарили по сетям в поисках запутавшихся там карбонариев, но находили только наивную городскую школу. Юные дурачки, мальки в чешуйках значков, увешанные ленточками различных цветов и снимающие на смартфоны себя, приятелей и подружек, неразрешённый митинг и видеуроки по приготовлению бутербродов где-нибудь в арт-пространстве междуречья Москвы-реки и Обводного канала. Они становились добычей.

Года четыре назад по нескольким областям от Волги и до границы с Белоруссией неожиданно участились случаи заражения африканской чумой у свиней. Объявили эпидемию. Власти поставили на дорогах кордоны, подключили войска химической защиты. За две недели уничтожили всё поголовье свиней, свинарники были опечатаны, фермеры в отчаянье обходили банки в поисках новых кредитов. В декабре бывшие у всех на устах пришлые невесть откуда агрохолдинги принялись повсеместно строить огромные промышленные свинарники. Весной завезли поголовье, а уже к следующей зиме обрушились закупочные цены, окончательно разорив фермеров. Некоторые, чтобы отдать долги, распродали технику и земли, а сами за гроши устроились к тем же пришлым зоотехниками или простыми свинарниками, но большинство подалось в Москву.

Мужчины от Вологды до Брянска поехали в Москву работать охранниками. Бывая в столице по делам церковным, отец Михаил видел их всякий раз. Мужики работали вахтовым методом. Приезжали за многие сотни километров и жили в самых дешёвых хостелах, выстаивая по вечерам очереди в уборную и к гладильной доске, чтобы отпарить форменные брюки.

Их тысячи и тысячи русских людей, потерявших работу на своей земле, но крепко держащихся за ту землю якорями крестов на могилах своего рода. Они хмуρο наблюдали из-под глянцевого козырька фуражек за тратящими и покупающими, за жрущими на фудкортах и вальяжно раскинувшимися на диванах зон отдыха. Они возвращались к семьям, получив очередной аванс, закупались в магазинах фиксированной цены одноразовыми вещами для собственной одноразовой жизни. Они ехали в плацкарте или в кабинах дальнебоев, договорившись на заправках. А в плотно набитых спортивных сумках везли домой несвежие рубашки и спортивные штаны, в которые была замотана-упакована хрупкая и тяжёлая ненависть.

Отец Михаил чувствовал то, что не показывали никакие социологические опросы, что оставалось в стороне от хитрых сетей больших данных, которые, гудя и добавляя зноя этому лету, обрабатывали суперкомпьютеры компании «П-Фактор», установленные по всей стране. Самый большой, огромный монстр на несколько залов, был смонтирован в Московском университете.

В прошлой своей жизни, ещё аспирантом лаборатории численных методов, Михаил Ермолин как-то приезжал на конференцию, устраиваемую эмгэушниками, когда их вместе с остальными участниками с периферии водили на экскурсию. Ермолин уже не был новичком, видел аналогичные центры Барселоны и Цюриха. Но и его впечатлили ряды и ряды воющих бесчисленными вентиляторами шкафов. Толстые мегаваттные кабели шли к зданию вычислительного центра под землёй через пол-Москвы.

Миллион процессоров меняли нули на единицы в параллельном расчёте сложнейших социальных моделей. Где-то между лезвиями кластеров уже бродил дух искусственного разума, предсказанного задолго до появления отнюдь не пророками и задолго же до появления проклятого человеком и Церковью. Но даже этот огромный мозг не был способен осознать глубину ненависти к тем, кто надругался над людским терпением.

Ливень настиг отца Михаила после развилки на Гаврилов-Ям. Почти сразу редкие крупные капли на ветровом стекле превратились в сплошной водопад с небес. Автоматические дворники шустро елозили по стеклу, но не справлялись. Отец Михаил почти не видел того, что спереди. Он принял в правый ряд и снизил скорость вначале до пятидесяти километров в час, потом до тридцати, а спустя пару минут отчаялся за струями воды разглядеть дорогу и вовсе остановился на обочине. Выключил двигатель и оставил лишь мигать аварийку. Встречные машины двигались медленно. Попутных вовсе не было. Наверное, так же как и он, остальные от греха подалее решили переждать ливень. Телефон в кармане жалобно пикнул, разряжаясь. Отец Михаил достал из бардачка зарядку, воткнул в гнездо прикуривателя, пощёлкал кнопками переключения программ на руле, без помех была лишь какая-то болтовня.

То, что отец Михаил взглянул в зеркало заднего вида и через струи воды различил стремительно приближающиеся зажжённые фары большегруза, оказалось Божьим промыслом. За пару секунд отец Михаил успел ударить костяшками пальцев по застёжке ремня безопасности и не то прыгнуть, не то и правда что вылететь через пассажирскую дверь, сразу скатившись кубарем в канаву. И уже через миг огромный тягач «Вольво», разорвав парходным гудком треск и шипение ливня, врезался в припаркованный автомобиль и проташил тот до начала отбойника, на который уже насадил, подобно бедру курицы на острый шампур.

До того случая отец Михаил давно не матерился. Поначалу, ещё до принятия сана, заставлял себя следить за речью, крестился всякий раз, как осквернял язык, а спустя пять лет уже по естеству заменял некогда привычные выражения разными причитаниями да вздохами. Но тут он стоял в траве, словно бы опустившись на колени для молитвы и уперев кулаки в землю,

но не молился, а лишь повторял раз за разом короткое ругательство, выдыхая вслед за ним кислый воздух ужаса и всё не мог вклинить в частокол срамного междометия ни молитвы, ни даже Господня имени.

Три четверти часа до приезда инспекторов отец Михаил провёл в кабине всё того же огромного тягача. Его бил озноб, и отцу Михаилу то и дело приходилось ставить на Торпедо крышку от термоса с крепким чаем, которым его отпаивал водитель большегруза, сам сидящий с бледным лицом.

– Решил, что всё. Всех угробил. Как во сне до того снилось. Даже цвет «Логана» тот же. И дождь. И удар, и звук этот, и отбойник, будь он проклят. Всё как снилось: двое детей, женщина и водила. Ну, ровно ты, вот с этими волосами длинными, в рубашке этой. Много раз снилось. На руле лежит лицом, очки разбиты и кровяца. Я сейчас к машине бегу, ноги не слушаются. Смотрю, а в кабине никого. По сторонам, а никого. Отвёл Господь.

Подъехала полицейская машина. Пока инспекторы ходили с рулеткой, пока заполняли протоколы, ливень вначале превратился в лёгкий дождик, а потом и вовсе стих. Озноб тоже прошёл. Хотелось спать.

– Эвакуатор вызывать будете? – спросил отца Михаила капитан, бывший в экипаже старшим.

Отец Михаил пожал плечами. Инспектор обошёл покорёженный «Логан» со сплюсненным багажником и покачал головой.

– Ну, да, это уже на разборку. – Он протянул отцу Михаилу документы. – Всего хорошего, Михаил Константинович. А вообще, считайте, заново родились. В церковь хоть зайдите, свечку поставьте.

Отец Михаил кивнул, убрал документы в набедренный карман армейских камуфляжных брюк, собрался было голосовать, как вдруг вспомнил о сумке на заднем сиденье с облачением и свёртком, полученным от Беляева. Дверь заклинило, расколотое в мелкие брызги стекло держалось только на плёнке. Отец Михаил выдал его локтем, потянулся и забрал сумку из салона. Достал из кармана водительской двери пакет, покидал в него хлам из бардачка: музыкальные диски, губки для обуви, зажигалки, перочинный ножик, фонарик. Снял со стекла антирадар. Прочёл благодарственную молитву Ангелу-хранителю и Николаю Чудотворцу, закинул сумку на плечо, последний раз взглянул на искорёженные остатки своего автомобиля, перекрестился и пошёл вдоль отбойника. Через триста метров ограждение закончилось, и отец Михаил вытянул руку с поднятым вверх пальцем. Через полчаса затормозил всё тот же давешний красный тягач «Вольво».

7

Детство отца Михаила, тогда ещё попросту Мишеля, прошло в Тутаеве. Тогда (да и теперь) это был совсем небольшой город на средней Волге, разделённый пополам великой рекой. Именовался он до революции Романов-Борисоглебск: на правом, чуть более пологом берегу – бывший Борисоглебск, напротив – крутыми уступами, оврагами и балками спускался к воде Романов. Мишель появился на свет в декабре шестьдесят девятого.

Дед Мишеля, Всеволод Александрович Ермолин, работал в Тутаеве завсектором свиноводства на Ярославской областной зоотехнической станции. Попал сюда из Костромы ещё до войны, после одного случая, о котором детей в известность решили не ставить. Мишелю не говорили до самой его окончательной взрослости. Перед войной Всеволод Александрович в окрестностях Тутаева выводил новую породу свиней, позже названную по деревне, в которой располагалась опытная станция, «брейтовской». На фронт ушёл в первую военную осень, летом следующего года, три месяца отлежав в госпитале после контузии, демобилизовался и вернулся к жене Антонине с сыном в Тутаев. Исполнилось ему на тот момент сорок один год.

К зимнему своему пятилетию Мишель начал копить воспоминания. Ермолины жили на Романовской стороне, в большом деревянном доме с каменным цоколем и низким первым этажом из кирпича, на крутом краю спускавшейся к волжской воде балки. В небольших овражках, что прорезали западный склон, росла чёрная и красная смородина, в которой дети могли пастись часами. Эти кусты смородины с ароматными листьями запомнились Мишелю первее остального и вспоминались часто. Даже не ягоды, которые были мелкие и кислые, а листья: пахнущие и чуть шершавые на ощупь. А потом, конечно, мотоцикл, который дед и его сослуживцы называли «макака». Был он старый, послевоенный, скопирован с немецкого, но рассчитан на советский бензин. Когда дед выезжал со двора на улицу, мальчишки уже ждали за воротами, чтобы бежать сзади, пока не набрана скорость, и нюхать-нюхать-нюхать сладкий выхлоп от выпитой мотором смеси масла и топлива.

Детство – время, когда мир входит через нос. Волга где-то внизу, за кустами, за полудиким яблоневым садом пахла ещё дёгтем и соляжкой последних трофейных немецких и румынских судёнышек, дымом от угля, сжигаемого в топках доживавшего свой век парохода «Вера Фигнер». Тот отчаянно молотил лопатками гребных колёс, поднимаясь вверх по течению от Куйбышева к Рыбинску, чадил и вонял как десять буксиров. И если встречал где-то в районе тутаевской пристани молодцеватого и подтянутого своего товарища «Павла Бажова», поперёд плоских барж с лесом встречным курсом летящего из Рыбинска в Горький, а далее в Казань и Пермь, гудел ревниво и долго. Много их было, краснобрюхих, одышливых пароходов, но каждого тут узнавали если не по гудку, то по силуэту.

Большая часть обстановки и даже утварь сохранились в доме от прежних хозяев. Те уехали года за три до войны столь спешно, что оставили даже высокие деревянные короба, каким было лет сто, никак не меньше, и в которых по полотняным льняным мешочкам шуршала гречневая и перловая крупа. Этой крупой бабушка Нина с семилетним сыном Костиком, будущим папой Мишеля, спасались зимой сорок второго года, пока Всеволод Александрович не вернулся из госпиталя и не устроился опять в лабораторию на станции. В детстве Мишеля крупу хранили в тех же коробах, в тех же длинных коричневых сундуках, стоящих вдоль коридора на первом этаже дома, и в восемьдесят девятом, когда Мишель служил в армии, а на гражданке появились талоны на крупы, масло и мыло, запасы из тех коробов неожиданно пригодились.

Бабушка Мишеля работала учительницей русского языка в средней школе, в которую ходил и сам Мишель. Звали её Антонина Степановна, и происходила она из крестьян Саратовской губернии. Родилась в Балашове, на Хопре. Детство её голодное, но счастливое пришлось

на самые горячие годы, когда грохало вокруг так, что в погребе, где они с сёстрами прятались от канонады, глина падала за шиворот их застиранных рубаш и потом прилипала плоскими блинчиками к спине на пояснице. Об этом она любила рассказывать вначале детям, а потом и внуку. Ещё любила рассказывать, как познакомилась она с будущим мужем, его – Мишеля – дедушкой. Эту историю Мишель любил больше всего. Он просил, чтобы бабушка начинала с первомайской демонстрации, где она шла в рядах физкультурников в гимнастической рубашке с широкими красными полосами и с воротом на шнуровке и то поднимала руки вверх, то расставляла их в стороны. Об этой демонстрации она рассказывала, когда Мишель болел и лежал в кровати с высокой температурой. Он запомнил и потом хотел эти два счастливых события объединить в одно. Бабушка и объединяла. Получалось, что вначале была демонстрация, а на другой день она встретила деда. Тот пришёл в школу, где бабушка работала учительницей, чтобы провести урок по санитарно-гигиеническому воспитанию.

– И вот он стоит у доски, высокий, такой огромный, в рубашке с отложенным воротником, усатый. Рассказывает про бактерии, про микробов, про сыпной тиф, а я сижу на задней парте рядом с Колей Бокучавой.

– Кто это Коля Бокучава?

– Двоечник такой был в классе, я его на заднюю парту отсаживала, если шуметь начинал. И передо мной макушки, макушки. Стриженные мальчиковые, и девчочковые тоже стриженные. В тот год тифа очень боялись, карантин объявили, обстригли всех.

– А зачем стригут, когда тифа боятся?

– Чтобы вошь тифозная не забралась. Всех стригли, голову керосином мыли, чтобы гнид смыть. Запах потом долго из класса не выветривался. И на улицах в Балашове, как и вдоль Хопра, пахло керосином и хвойным мылом.

– И ты стриглась?

– Ия стриглась, но не так коротко. У меня косы были, косы состригла. И когда на деда твоего смотрела, не слушала, что он говорит, а жалела, что косы состригла. С косами я мальчикам нравилась, а так сама была на мальчишку похожа.

Потом бабушка в очередной раз рассказывала, как в учительской, после урока, она сняла с вешалки тяжёлую кожаную куртку деда с ватной подкладкой на пуговицах, чтобы подать ему, а у неё не хватило сил даже удержать. И как дед рассмеялся и сказал, что это не девушки должны подавать верхнюю одежду мужчинам, а наоборот. И как она застеснялась и сделала вид, что вовсе не то имела в виду, что вовсе и не хотела она куртку подать, что сейчас никто друг другу одежду не подаёт, потому что это всё из буржуйского прошлого, а теперь люди равны и помогают друг другу в делах, а не манерами щеголяют. И как дед смотрел на неё и улыбался.

– А потом вы поженились?

– Через год.

– А почему через год?

– Так положено.

И Мишель представлял себе бабушку совсем молодой, в полосатой футболке, с волосами, стриженными ёжиком, и деда в кожаной куртке с меховым воротником. И вот они уже вдвоём идут в колонне на демонстрации. И все их поздравляют, потому что они поженились. И это не казалось странным. Это ведь было так давно. А в «давно» все события рядом.

Бабушка каждое утро уходила вести уроки, и с маленьким Мишелем оставалась Лидушка, его тётя. Лидушка была поздним ребёнком, старше Мишеля всего на семь лет. Бабушка, несмотря на возраст (шутка ли, сорок восемь лет!), на голод, перенесённый в детстве, пришедшемся на годы Гражданской войны, и на голод зимы сорок второго, относила срок легко. Да и роды прошли спокойно и быстро – даром что не первый ребёнок. Лидушка сразу стала любимым чадом, а после того, что случилось со старшим сыном, отцом Мишеля, так и единственно любимой. Но всё до той поры, пока в доме не поселился внук. Мишеля

привезла из Ленинграда мать только на лето, чтобы набрался солнца, но он так и застрял в Тутаеве у Ермолиных. Обратное бабушка Антонина внука не отпустила. Лидушку тогда специально перевели во вторую смену, и она отправлялась в школу к двум часам дня. Но каждый день с понедельника по субботу были десять минут, когда Мишель оставался один. Бабушка ещё не успевала вернуться, а Лидушка уже уходила. Сперва он плакал. Потом привык, ставил табурет возле окна, выходящего на улицу, забирался на него, отодвигал плетёные занавески и высматривал бабушку. Он замечал её ещё на перекрёстке Второй Овражной и Урицкого, сосредоточенно спешащую, с пачкой тетрадок под мышкой и с сумкой на защёлке-барашке. И она видела его в окне и махала свободной рукой. До пяти лет он и помнил только эти десять минут у окна. Десять минут были огромными, размером с целый мир с его фантазиями и паролетными гудками.

За полгода до шестилетия Мишеля посчитали в семье взрослым. Летом его стали отпускать одного к пристани, а осенью, когда Лидушка перешла в шестой, она уже собиралась в школу рано утром вместе с бабушкой. Второй смены для средних и старших классов в школе не было. Они завтракали все вместе, потом бабушка и тётя целовали Мишеля и уходили. Мишель оставался один. Во сколько уходил дед, Мишель не знал. Это случалось всякий раз в невообразимую рань, а осенью и весной задолго ещё до рассвета. Чтобы никого не будить, дед, не заходя, выкатывал «макаку» со двора и толкал его к самой набережной, где напротив углового каменного дома наконец бил подошвой сапога по стартеру, прыгал в седло и укатывал в стору паромной переправы. Зимой дед уходил пешком. Иногда он не ночевал дома по три дня, оставаясь в опытном хозяйстве. Топливо экономили, и лишнее раз машину до Брейтова или до Прозорова, где была центральная усадьба колхоза, не снаряжали.

Один в огромном старинном доме двух этажей с подполом и чердаком Мишель чувствовал себя уютно. И даже те несколько часов августовского воскресенья, когда его впервые надолго оставили наедине с игрушками и книгами. Дед с бабушкой, захватив Лидушку, отправились тогда на «макаке» в Ярославль к старшей сестре деда на день рождения, а Мишель должен был открыть ей же, в случае если она, не получив телеграммы, вдруг решила бы приехать сама на попутной машине. Лидушку называли в честь сестры деда. Бабушка Лида, или Тата Лида, или, вернее, Кока Лида, как её звали в семье, не приехала. Она вообще забыла, что у неё день рождения. Семейство застало её в разобранном состоянии, в халате, с папилютками в волосах и с книжкой. Лидушка потом любила изображать Коку Лиду, уставив руки в бока, надув щёки и сощутив глаза: «Ермолины? А чего это вы, Ермолины?!» Дома в отсутствие всех было спокойно. Разве что шмель залетел в окно в столовой, но, промаявшись между плотными льняными шторами и стеклом, только освободился, как в отчаянье дал дёру. Вначале Мишель читал. Он научился читать в пять с половиной лет и за год, ещё до школы, самостоятельно осилил все, что было в доме, тонкие детские книжки издательства «ДЕТГИЗ» с крупными буквами. Это были ещё книжки отца, а потом Лидушки. Теперь же он терпеливо разбирал мелкий шрифт дореволюционного издания «Робинзон Крузо» с картинками Гюстава Доре. Но это была сложная книжка, с множеством незнакомых слов и лишними буквами. Дед научил, как читать или не читать большинство из них, но они отчаянно мешали и Мишелю, и самому Робинзону.

Наконец он отложил книгу и отправился в путешествие по дому, решив, что должен собрать то, что поможет ему перетерпеть долгое, может быть, даже многолетнее одиночество на острове. Чудо, что первое, что взял он в руки, потянувшись за зелёной армейской флягой, оказался альбом с фотографиями в сафьяновом переплёте. Этот альбом никогда Мишеля не интересовал. Его интересовал отблеск света на алюминиевой пробке фляги. Фляга была спрятана от Мишеля на полке за альбомом. Он мечтал о ней пуще дедовского ножа с тремя лезвиями и штопором в красном кожаном чехле с тиснёной золотой буквой «Е». Нож у Мишеля

уже имелся. Пусть не такой прекрасный, но тоже справный, гэдээровский, перочинный, чуть тугой, но с зелёными с перламутром плексигласовыми накладками.

И вот он открыл альбом. Он совсем случайно открыл альбом. Он не собирался открывать альбом. Что там, в альбоме, могло быть интересного для мальчишки? Но он открыл его, и тут же откуда-то из межстраничья выпала фотокарточка деда. Да, это был он, только молодой, в бешмете с газырями, верхом на коне, подпоясанный кавказским ремнём из серебряных пластин, с ружьём в руке. Это не было фотокарточкой из портретной студии, коих он уже успел повидать много. Да и сами они однажды, когда оказались в Ярославле, пошли в фотомастерскую, где отцу и маленькому Мишелю фотограф предложил надеть чёрные черкески с газырями, деревянные наконечники которых были покрашены серебряной краской. Это была любительская фотография, сделанная, однако, с большим мастерством, поскольку все детали на ней оказались чёткими, словно прорисованными. Сзади деда какие-то люди тоже седлали коней. Стояла телега, гружённая мешками. Дорога с домами по обе стороны уходила далеко. И там, где самое далеко, виднелись силуэты гор. Ружьё дед держал стволом вниз в опущенной правой руке, левой же опирался на переднюю луку седла. На голове чёрный башлык, с концами, закрывающими шею наподобие шарфа. Но главное – лихие чёрные тонкие усы, придававшие деду вид отчаянного головореза, как в недавно виденном по телевизору фильме «Белое солнце пустыни».

Мишель чуть не закричал от восторга и принялся листать страницы альбома в поисках подобных карточек. Но там были сплошь изображения Коки Лиды, каких-то неизвестных женщин, матери, отца Мишеля и больше всего Лидушки. Лидушка совсем маленькая, на руках у деда, Лидушка чуть взрослее на детском стульчике, в коляске перед кустом сирени, Лидушка с отцом на палубе волжского парохода, Лидушка в сарафане. Были тут и фотографии самого Мишеля, сделанные дедом на огромный фотоаппарат «Киев». Мишель уже скучнее шлёпал толстыми картонными страницами и наконец разочарованно вернул альбом на полку, предварительно достав флягу. Фотографию деда на коне с винтовкой он забрал с собой, установил на столе и теперь стал играть, как будто бы сам он красный партизан, а дед – командир и с лошади отдаёт приказы. Мишель кричал: «Так точно, товарищ командир», брал наперевес бабушкину линейку-рейсшину и прятался за подушкой дивана, как за бруствером. Мишелю виделись цепи вражеских солдат в серой форме, на фоне гор. И он стрелял по ним из воображаемого пулемёта. И фонтанчики от пуль танцевали на каменистой и пыльной дороге в горячем мареве кавказского дня.

Когда вернулись родные, Мишель, умаявшись, спал там же в столовой на диване. Ножик, игрушечный револьвер и рейсшина лежали рядом. Спал крепко, потому не видел, как нахмурился дед, увидев на столе фотографию, и не слышал, как он что-то вполголоса, но строго выговаривает бабушке.

Школьные годы Мишеля мало отличались от проведённых на Волге школьных лет сверстников, разве что, не в пример своим одноклассникам, редко уезжавшим из родного дома, он исколесил в коляске дедовской «макаки», а потом и на заднем сиденье автомобиля всю среднюю Волгу, сопровождая деда в поездках по опытным и учебным хозяйствам. Однажды напросился, чтобы ему показали свинарник, но, оказавшись внутри, зажал нос рукой и в ужасе стал дышать ртом. Запах был едким до рези в глазах. Под каркающий, обидный смех свинарки и зоотехника он бросился наружу. Но и там, как ему казалось, пахло так же. Лишь отбежав на приличное расстояние и усевшись на вершине холма, где гулял жаркий луговой ветер, он смог наконец прийти в себя. Однако за те пару минут, что был он внутри, одежда напиталась вонью. И теперь отец Михаил всякий раз, направляясь на требы, например исповедовать кого-то из стариков и проходя мимо двора Лыкова в Селязине, где в свинарнике хрюкал откармливаемый к зиме хряк, узнавал это сладковатое, чуть приторное эхо запаха. Такой источала одежда деда после возвращений из дальних поездок. Впрочем, дед старался переодеваться, а по хозяйствам

ходил в белом докторском халате и в светлой шляпе. С тех пор к свиарникам Мишель не подходил. Узнавал, во сколько планируется обед, и до обеда гулял по окрестностям. Чтобы внук не блуждал по лесу, дед однажды подарил ему компас и показал, как им пользоваться. Ещё у Мишеля были настоящие наручные часы «Ракета» с продолговатым циферблатом, ранее принадлежавшие матери, упомянутый уже складной нож, детский транзисторный приёмник «Звёздочка» и, конечно, фляга. Дед подарил ему вожделенную флягу с буквой «Е» на восьмилетие, и теперь она болталась на ремне, стучая по попе на каждом шаге правой ногой.

Мишель любил перелезть через нагретые солнцем, шершавые доски изгороди и идти через длинные выпасы, ощущая, как голые лодыжки царапают не то кустики цикория, не то кузнечики, что сотнями бросаются наперерез его озорному маршу. Он размахивал руками и пел во всё горло «По долинам и по взгорьям» или «Наш командир удалой, мы все пойдём за тобой». Иногда с холма, на который забирался выпас, открывался вдруг вид на Волгу. Она так блестела на солнце, что казалась вырезанной из фольги и наклеенной в тетрадь этого лета между голубым, почти белым и зелёным. И следующим летом была фольга Волги, и ещё через год, и даже через пять. Они и на слух были очень похожи: «фольга», «Волга».

Куда бы ни ехали они с дедом, везде была Волга. Он смотрел на карту, силясь понять, почему так получается. И казалась река Мишелю иногда хитрой, иногда отчаянной, а то и вовсе шалопутной оторвой. Собравшаяся по ручейкам на Валдае, Волга вначале решительно бросалась на Север, словно поспешала угнаться за притоками Северной Двины, но вдруг, словно опомнившись, словно приняв в себя степную природу русских страстей, у самого Тутаева поворачивала на восток и тут уже погоняла баржи свои до города Горького, самого нижнего из новых городов в верхнем своём течении. Там, прельщённая тёплыми водами Оки, собиравшей дань от Орла и до Муромы, отправлялась с полными берегами до Казани. И только здесь, словно напуганная страшными рассказами Камы о хладных мозолистых ладонях Урала, окончательно поворачивала на юг, в тёплые края.

8

Ближе к Волге стало совсем светло. По обе стороны от Великой Реки ветром, дующим с Рыбинского водохранилища, с прибрежного пейзажа посшибало хлопья тумана и несло вдоль воды. В Ярославле колко сверкали купола храмов, перезванивались трамваи, щёлкали пантографами троллейбусы, торопясь заглянуть окна в окна теплоходам.

Перед новой развязкой с Тутаевским шоссе отец Михаил попросил его высадить. Разговорчивый водитель тягача, не умолкавший всю дорогу, с сожалением перестроился в правый ряд и затормозил.

– Ты кем работаешь-то? – спросил он вдруг отца Михаила, когда тот уже поблагодарил и взялся за ручку двери.

– Настоятелем.

– Самогон на шишках настаиваешь?

– Настоятелем храма, – и почему-то добавил: – сельского.

– Монах?

Отец Михаил поморщился, хотя давно привык, что люди далёкие от Церкви не разбираются в простых вещах.

– Приходской священник.

– Ух ты! Я смотрю, волосы длинные, как у старого рокера, а на рокера не похож. Много получаешь? Ну, то есть, какая у вас там зарплата? Говорят, деньгу зашибаете?

Отец Михаил взглянул на водилу поверх очков. Тот осёкся.

– Ладно, бывай, настоятель! Извини, что так вышло. Сам понимаешь, никто не знает, как оно сложится. Удачи... – Водила замаялся. – И помолись там за меня. За раба божьего Василия.

До Тутаева отец Михаил добрался только к трём часам дня на рейсовом автобусе. Пока спускался по лестнице, паром отчалил и, когда отец Михаил дошёл до касс, зычно загудел на середине Волги. Пришлось идти к моторкам. Они стояли чуть выше по течению. Чтобы самому не платить за весь рейс, потребовалось ждать, пока наберётся четверо пассажиров. Наконец всем нацепили выцветшие, похожие на пожухлые листья спасательные жилеты и отчалили. Паром к тому времени вновь гудел, уже отходя с Романовской стороны.

Только лодка ткнулась носом в песок, отец Михаил первым соскочил на берег. Он скинул с себя жилет, повесил сумку с облачением на плечо, в руку взял пакет со всяким хламом из машины и побежал вверх по деревянной лестнице, словно в детстве перепрыгивая через ступеньки. Но уже на середине запыхался так, что сердце стучалось в кадык. Дальше поднимался медленно, то и дело останавливаясь, присаживаясь ненадолго на скамейки, крашенные такой же, как тогда и всегда, синей краской, и глядел на блестящую между стволов деревьев Волгу. Свежеположенный асфальт на улице Панина после ливня успел просохнуть, и на обочинах блестела слюдой гранитная щебёнка. Отец Михаил свернул направо и пошёл дальше по Волжской набережной. Она показалась почему-то темней и сильно уже, нежели в детстве. На обочинах, прижатые к стенам домов, стояли припаркованные авто. Где-то во дворах, больно царапая воздух, звенела болгарка.

Отец Михаил не был в Тутаеве больше тридцати лет. Ещё в восемьдесят четвёртом деду дали кафедру в Ярославском филиале Тимирязевки, и они с семьёй переехали. Вначале, конечно, писал письма одноклассникам, одноклассники писали ему, но достаточно скоро переписка затухла. Из всего детства остался только Валерка Шахрай, с которым они когда-то ходили в детский сад, во вторую школу Тутаева, позже очутились за одной партой в последних классах Ярославской математической школы недалеко от Плешки, а потом учились вместе на вычислительном факультете. К Шахраю он сейчас и ехал.

Они почти вечность не виделись с того вечера, когда напившись оба на проводах Мишеля в армию. Нет-нет да и вспоминал он друга, когда разглядывал фотографии студенческой поры. Но в прошлом мае неожиданно столкнулся с ним лицом к лицу в Селязине. Вначале, когда выходил из церковной калитки, показалось отцу Михаилу, что слышит он громкий голос Шахрая, доносящийся откуда-то снизу, где над святым источником стояла справленная им часовня с купелью. Но откуда тут взяться оставленному в юности приятелю?

Афонинская мать, заболев гриппом, а то вовсе во время очередного приступа гипертонии, всякий раз собиралась помирать и звала отца Михаила исповедоваться. В ту майскую среду Афониной полегчало ещё во время исповеди, и она даже, несмотря на постный день, никак не хотела отпускать отца Михаила без того, чтобы тот отведал её котлет. Чуть не оскормился. Шахрая он увидел, подойдя к калитке.

И хотя неоткуда было тут взяться его другу детства, прихрамывающего, да ещё и с ведрами в обеих руках, узнал его отец Михаил сразу, чего нельзя сказать о приятеле. Шахрай полысел, ещё больше раздался в плечах, но это был всё тот же Валерка Шахрай, с которым они из рогатки пуляли подшипники через овраг и который на первом курсе списывал у него лабораторные по электротехнике.

Тот, как оказалось, гостил у Беляева, городского, год назад поселившегося в соседнем с Афониными доме. Оба обрадовались. Условились не теряться. Списались.

В конце июля Шахрай позвонил и пригласил в гости.

– Ты же сто лет в Тутаеве не был! Приезжай на выходные, заодно и дом освятишь, коль по этой части теперь профессионал, – по-приятельски предложил он отцу Михаилу. – Я тут к папашинной хибаре новый пристроил. И ещё гостевые апартаменты. Есть где развернуться с кадиллом.

Отец Михаил позвонил благочинному, испросил разрешение на пару дней отлучиться для поправки здоровья, получил наставление не пропускать воскресную литургию и выехал в пятницу утром.

С четвёртого класса мать Шахрая, эта уже тогда немолодая женщина, отличавшаяся необыкновенной худобой, с волосами, закрученными на голове, как у балерин, в кичку, преподавала немецкий язык. Из-за особенностей подтянутого и словно марширующего языка казалась Алиса Вольфовна и сама ещё строже. Её побаивались, но дома, когда Мишель приходил к Шахраю в гости, его мать вдруг обращалась уютной хлопотуньей, то жарящей оладьи, то насыпающей в глубокие тарелки малину из большого эмалированного бидона.

– Ешьте, ребята. Надо поесть, успеете к приятелям. Никуда жизнь, пока вы едите, не денется.

А их и не нужно было упрашивать. Мальчишки готовы были умять целую полевою кухню вместе с лошадьё, встретясь она на их пути и чуть зазевайся возница.

Из всех немецких слов, которые кружились по квартире Шахрая, прилипли к языку Мишеля поначалу только уютное *vielleicht*¹ да кудрявое, словно вязанное из жесткой козливой шерсти, *schwerlich*². Немецкий не шёл. Четвёрки с пятёрками, которые оказывались в его дневнике, были следствием упорной зубрёжки. Казалось, вся эта многоартиклевая дребедень не может держаться в голове Мишеля дольше пары дней. Валерка же знал немецкий блестяще. Он его изучил против собственной воли. Мать дома частенько в педагогических целях переходила на немецкий и говорила только на нём. Много лет спустя, за год до рукоположения, но ещё сотрудником лаборатории численных методов, он оказался на математической конференции в Гамбурге. И, мучительно вникая в то, что с обаятельной улыбкой вещал со сцены конференц-холла долговязый баварец, Мишель вдруг споткнулся об это аристократическое

¹ Возможно (нем.)

² Едва ли (нем.)

«schwerlich» и улыбнулся, вспомнив малину с сахаром и толстые, пышные оладьи со сметаной. И стали все эти параллельные вычисления вдруг совсем не нужны и далеки. А следующей весной, после грустных событий дома, оставив кафедру и подработку в оптико-механическом, он уже поступил в Духовную академию.

Когда мать Шахрая развелась с Валеркиным отцом из-за отчаянного того пьянства, то, прихватив сына, уехала в Ярославль к родителям. В Ярославле чудесным образом Шахраи вновь оказались соседями с Ермолиными. После отъезда жены с сыном Шахрай-старший продолжал жить в Тутаеве, писал сыну длинные смешные письма с нарисованными шариковой ручкой картинками. Раз в месяц Алиса Вольфовна шла на почту и получала перевод. Не было случая, чтобы перевод не пришёл или задержался. В денежных отношениях у Шахрая-старшего всегда был Ordnung³. Да и сам он казался человеком хорошим, но словно махнувшим на себя рукой. После увольнения из тутаевской ментовки, где за пятнадцать лет дослужился лишь до старшего лейтенанта, работал простым грузчиком в продуктивном на площади. Пил там же, на задах, возле выкрашенного в красный пожарного ящика с песком, на который удобно было ставить и стакан и бутылку. Когда жена забрала Валерку и уехала к своим в Ярославль, замер на несколько месяцев, приходя в себя, уволился из продуктового, устроился завхозом «на пожарку». Но уже к зиме вновь запил, да так и пил до самого своего тихого и скорого конца в конце восьмидесятых.

Ленинградский университет для поступления был выбран из-за матери Мишеля. Она прислала деду серьёзное письмо, в котором настаивала, чтобы Мишель учился именно в Ленинграде. Мол, и так «всю жизнь ребёнка не видит», пусть хотя бы в университете будет рядом. Сама она работала в ректорате. Что касалось Шахрая, тот просто поехал вслед за школьным другом, ему было всё равно, он хорошо успевал по всем предметам.

Ермолин-старший поначалу хмурился, поскольку полагал, что внуку следует учиться в Казанском университете. Тамошний математический факультет славился ещё со времён его гимназичества. Но после, рассудив, махнул рукой.

– Пусть едет, Антонина! Что Казань, что Ленинград, всё от нас далеко, и захочешь – не накатаешься.

Лидушка уже окончила в том Ленинграде Институт культуры. Мишель хорошо помнил возвращение сестры. Она заранее дала телеграмму, и Мишель вместе с дедом и Колямбой встречал её на вокзале на служебной дедовой «Волге». И как она, обнимая маленького Колямбу, рассказывала и рассказывала про Ленинград, про институт на набережной Невы рядом с Марсовым полем, про мосты, которые действительно разводятся каждую ночь, и это вовсе не выдумка, про трамваи, про памятник Стерегущему, про зоопарк, про Дом книги. Особенно про Дом книги. Лидушка окончила библиотечный факультет, и книги составляли её существование.

В Ярославле у Ермолина-старшего вдруг появилась служебная «Волга» цвета беж. «Макака» сгинул в Тутаеве, оставленный ржаветь в сарае их бывшего дома. Да и как перевезёшь эту грудку давно выработавшего свой ресурс быстрого железа. Мишель любил ездить с дедом на «Волге», но отчаянно жалел «макаку». Сохранилась фотография, где он маленький сидит в седле, ухватившись за рогатый руль, и делает вид, что едет. Даже в сжатых губах мальчика на фотокарточке читался звук «рррр». Как-то он принёс фотографию в класс.

– Почти Эр-Тэ стодвадцатьпятый, немец натуральный. По нему «макак» уже в Москве делали, – со знанием дела сказал Шахрай, который в технике разбирался лучше всех в классе. – Надёжный был аппарат. Помню его. Раритет! Что же не взяли с собой? Ну и что, что сломан! Починили бы.

³ Порядок (нем.)

Мишелю было жаль мотоцикл. Как бы он пригодился в Ярославле! Вскочить в седло, завести, почувствовать через брючину тёплую стальную вибрацию да и прокатить Лерку Берковскую, девушку, на колени к которой так неуклюже рухнул он первым своим уже ярославским летом, когда их класс погрузили в кузов старого краза и повезли в колхоз на яблоки. В кузове пахло теми яблоками, Лерка пахла яблоками, и электричество то яркое, то тусклое, которое после питало их отношения, пахло яблоками. Какие бы духи он ей потом ни дарил (Мишелю однажды удалось достать в магазине «Ланком» на Невском даже знаменитые «Шанель номер пять»), Лерка пахла яблоками.

Лерка не говорила, куда собирается поступать. Понятно, что на генетику, но вот куда. «Потом узнаешь», – говорила она Мишелю. «Потом узнаешь», – говорила она Шахраю. «Потом узнаешь», – говорила она их одноклассникам, ребятам из параллельных классов и всему остальному волжскому городу, влюблённому в неё. Кажется, она не принимала этот город и населяющих его юношей всерьёз. Всерьёз она относилась только к растениям, животным и бактериям. Может быть, Мишель поехал поступать в Ленинградский университет, потому что кто-то ему сказал, что Лерка собралась туда же, на биолого-почвенный. А возможно, Мишель это потом уже придумал для себя. Он не помнил. Наверное, это не так и важно. Много было неважно.

За год до окончания Мишелем школы умерла Кока Лида. Хотя она и была родная сестра деда, однако на табличке, прикрученной к кресту, значилось «Ермолина Лидия Алексеевна». Бабушка Антонина говорила что-то о путанице в документах перед войной, из-за чего отчество у Коки Лиды не Александровна. Впрочем, Мишеля это всё не сильно заботило.

Важно, что поздним июньским вечером восемьдесят шестого года их с Шахраем провозжали в Ленинград на перроне станции Ярославль-центральная. Оба впервые уезжали так далеко и надолго от семьи. Пионерский лагерь, работа на току после девятого класса, сбор яблок в колхозе – всё не в счёт. Поезд отправлялся не в Ленинград, а в самостоятельную взрослую жизнь. И пусть Мишель с Шахраем это ещё не совсем сознавали, но и они заметили, что взрослые только изображают радость и приподнятое настроение.

Лидушка потом рассказывала, что, когда красные огоньки последнего вагона мотнуло на дальней стрелке и репродуктор-колокольчик на столбе голосом железнодорожной женщины проскрипел что-то деловое и непонятное, дед захлопал по карманам своего летнего пальто в поисках папирос, замер, наверное, вспомнив, что бросил курить сразу после госпиталя в сорок втором, достал носовой платок и отчаянно высморкался.

– И вид, Мишель, у него в тот момент был растерянный и грустный.

Отец Михаил дошёл до поворота над самой пристанью. В детстве они перелезали через низкую ограду, спускались по крутой и вовсе невозможной после дождя тропинке за кусты, так что сверху их уже не было видно. Там торчала сделанная из досок и врытая в землю низкая скамья. На ней сидели почти на корточках, смотрели на реку и курили. Наверное, скамья и сейчас на своём месте, уже оккупированная чужим детством, в которое отцу Михаилу проход заказан.

Здесь, в угловом доме, жила влюблённая в него одноклассница Лена Белозёрова. Белозёрова казалась ему, да и всем, некрасивой. Её портили крупные неровные передние резцы, из-за которых девушка походила на мультипликационного кролика. Её даже так дразнили, пока она не сделалась старостой класса. После этого стали называть не иначе как Белозёриха. Она носила очки, и волосы её всегда были зачёсаны назад и убраны в торчащую, подобно короне над маленькой головой, кичку.

Эта белозёровская любовь Мишеля однажды в конец заколебала, и он при всей компании, курящей на секретной мартовской скамейке, высмеял Белозёрову, рассказав, как она пукает, когда волнуется, и как её дыхание, только они оказываются вместе на физкультуре, становится похоже на хрюканье. Он говорил это громко, почти кричал. И, наверное, да что там «наверное»,

без сомнения, Белозёрова слышала эти обидные слова, потому что форточки на первом этаже углового дома были открыты. Да, она слышала. Но так ей и надо, потому что только так и положено учить тех, кто берёт не своё. Разве мог он, Михаил Ермолин, быть предназначен Белозёровой? Глупость, фантазия да и только.

В декабре, перед самыми зимними каникулами, в восьмом классе Белозёриха писала Мишелю чувственные записки, которые отправляла со своего места во втором ряду у окна на заднюю парту у стены, где сидели Шахрай с Мишелем. Конечно, эти записки прочитывались по дороге. Иногда к ним добавлялись непристойные рисунки кого-то из мальчишек или отпечатки губ кого-то из девочек. За месяц до этого им на троих с Белозёровой и Шахраем поручили делать стенгазету к Новому году. Они собрались после уроков тут, в этом доме с окнами на Волгу, но вместо того, чтобы писать буквы и кромсать фотографии, вначале выпили по несколько глотков сухого грузинского вина, початую бутылку которого Белозёрова достала из серванта, а потом принялись играть в подкидного дурака на раздевание. Проигрывал Шахрай. Когда на нём остались только брюки и правый носок, он бросил карты, сказал, что ему пора, оделся и со словами «делайте сами свою стенгазету» ушёл домой. Мишель и Белозёрова остались вдвоём. К тому времени за окнами уже почти стемнело, и на правом берегу зажглись огни. Белозёрова сидела на полу, перед листом ватмана, в синих рейтузах и длинной шёлковой блузке. Школьный сарафан и передник она уже «проиграла».

За две следующие раздачи она лишилась блузки и майки. Под майкой оказался белый с кружевами и явно не новый лифчик, может быть, даже принадлежавший когда-то белозёровской мамаше, еле скрывавший уже развитую грудь. Мишелю показалось, что одноклассница жульничает, и не в свою пользу. Она дважды побила его семёрки королями, хотя у неё были восьмёрки и девятка крестей (козырь), он помнил, как Белозёрова взяла их из прикупа. А потом зашла с туза, зная, что он отобьётся козырем, и в конце кона осталась и без лифчика.

Он старался смотреть в карты, а не на грудь Белозёровой, а в ушах крутился диалог в раздевалке перед физкультурой:

- У Барановой сиськи что надо.
- Прикинь, у Гольдберг больше! Вообще сисяндры!
- А ты трогал?
- Я-то трогал. А ты трогал?
- Даяу всех трогал, даже у Белозёрихи.
- У Белозёрихи отличные сиськи. Маленькие, но крепкие.

Переволновавшись, Мишель зашёл с бубнового валета, но вместо того, чтобы побить валета дамой, Белозёрова вдруг повернулась, положила карты на стол, потом встала и задёрнула левую, ближнюю к дивану штору. В комнате стало совсем темно. Тогда она подошла к Мишелю и протянула руку. Он послушно встал. Белозёрова сняла очки, положила рядом с картами и легонько толкнула Мишеля к дивану. Он оглянулся, и в то же мгновение Белозёрова толкнула его уже сильнее, так что диван оказался под коленками и Мишель просто рухнул, ударившись головой о твёрдый валик, но не проронил ни звука. Она опустилась на колени и приблизила лицо к его лицу, поцеловала в губы, потом встала и как-то по-дурацки, стоя то на одной ноге, то на другой, то приподнимаясь на цыпочки, сняла колготки, оставшись только лишь в светлых трусах, которые оказались самым ярким пятном в тёмной комнате. Мишель подвинулся к спинке дивана, ощутив всей голой спиной его колкость и шершавость. Белозёрова легла рядом, сразу впилилась губами в его рот, засунув свой язык между его зубов, а руку положила туда, где, помимо его воли, за секунду поднялся «пик коммунизма». И вот он уже гладит её соски, кладёт ладонь на холодный, влажный зад и прижимает к себе.

– Ты меня любишь, Мишенька?

– Да! А ты меня, Алёнушка? – Он назвал так Белозёрову, даже не задумываясь, словно бы иного имени у девушки никогда и не было.

– Люблю тебя больше жизни! Люблю тебя! Люблю тебя!

Белозёрова прижалась к нему так, что он почувствовал её всю, даже пульсирующий лобок. Она чуть отстранилась, высвободила левую руку и, пробравшись вниз, сразу лихо расправившись с ремнём и пуговицами брюк, забралась к нему в трусы. Мишель схватил ртом тёмный воздух гостиной Белозёровых, уже расчерченный наискось светом фонаря, зажжённого в конце Волжской набережной, с тенями от штор и оконного переплёта. И вот в мешанину лёгкого нафталинового привкуса из открытого шкафа с платьями, которые так и не надела Белозёрова, и эха рыбного супа, который варили кошке из мороженой мойвы утром, влились густые волны его собственного и белозёровского пота, выхлоп кислого сухого вина из их открытых и кричащих страстным молчанием ртов. И в тот же миг он не выдержал и, выгнувшись так, что вновь ударился затылком о валик дивана, лопнул тугой и горячей струёй прямо в пальцы Белозёровой. А та, вместо того чтобы убрать руку, наоборот, принялась мять и гладить его опаскудившийся орган, от чего ко всем запахам преисподней примешался сладковатый и туманный аромат его, Мишелева, позора.

Отец Михаил посмотрел на дом, стоящий за временным жестяным забором, каким обычно, чтобы защитить от разграбления, закрывают купленную наново далеко от собственного обитания недвижимость. Где-то тут, за синим жестяным кожухом, пряталась пошарпанная филёнчатая дверь под тугой пружиной, в которую он выскочил, на ходу застёгивая на три большие круглые пуговицы синтетическое полупальто. Такие мохнатые полупальто были модны в тот и предыдущие года. Он бежал с поля боя, триумфатором, но обескураженным своей победой, сдавшимся самому себе и своим мыслям о себе, ничтожным и опозоренным. Месяц потом он чувствовал пальцы Белозёровой на своём члене и оттого возбуждался и, против желания, тербил и мял, пока не взрывался вновь в тишине и темени уличного сортира.

Теперь здесь никто не жил. Новые хозяева успели вставить пластиковые окна, оградить дом забором и пропали, видимо, надолго. У забора кисла разворошённая ржавая гора синтетической ваты. Как и под Владимиром, тут скупали недвижимость москвичи. Делали они это нехотя, словно вынужденно подбирая то, что оказывалось ненужным хозяевам. И после мариновали местных работяг, не начиная стройку или ремонт, но и не отпуская работников. Впрочем, к москвичам и их манере хозяйничать тут, как и везде по стране, привыкли и не принимали в расчёт: будут деньги, будет и работа.

Отец Михаил прошёл по Первой Овражной до следующего поворота, где некогда был дом Шахраев, а теперь высился новый деревянный забор, покрытый коричневой финской морилкой. Дом форсил терракотовой черепичной крышей и деревянными оконными переплётами стеклопакетов. Ворота с каменными столбами обрамляли добротную калитку из шпунтовой дубовой доски, справа от которой поблёскивало рифлёное железо автоматических ворот.

Он нажал кнопку домофона и услышал, как где-то внутри истерично запиликал звонок. Однако ответа не последовало. Отец Михаил звонил снова и снова, но никто так и не открыл. Будь у него телефон, он связался бы с приятелем ещё с пристани, но тот, на котором обычно запускался навигатор, был разбит вдребезги и оставлен в недрах руин несчастного «Логана».

Отец Михаил огляделся по сторонам, убедился, что никто не видит, прочёл Иисусову молитву, перекрестился да и перекинул через забор вначале сумку с облачением, а потом пакет со всякой дребеденью из разбитой машины. Он услышал, как с той стороны забора вначале сухо звякнуло кадило в пакете, а потом из внешнего кармана сумки со стуком вылетел и, шурша, проехал по бетонному помосту белаяевский свёрток. «Вот и ладно. Вот и пусть. Шахрай появится, поймёт, что я уже в Тутаеве», – подумал отец Михаил и бодро, налегке пошагал по Красноармейской, ныне Крестовоздвиженской, к городскому парку.

Странно, но все эти годы отец Михаил о Белозёровой не вспоминал. Её словно и не было вовсе. И вместе с ней не было и его самого со спущенными брюками, трясущегося от вождения июльской ночью в малиннике на склоне Второй Овражной, когда дискотека в городском

парке рассовывала по каждому длинному чулку аллея, по каждому карману улиц и переулочков Романовской стороны то острые чешуйки высоких частот, то тяжёлые подшипники низких от медляка «Ticket to the Moon». И Лена Белозёрова облизывала, мяла и целовала его восставшее достоинство, а потом, словно тяжёлую воду, громко сглатывала то, что досталось ей случайно и без любви. И не отпускала сбежать, как тогда зимой, а держала крепко за карманы «леви-страуса». И после, когда он вдруг заплакал, обнимала его, гладила по щеке и шептала в ухо ласковые глупости, от которых слёзы текли ещё обильнее. А он думал, что хорошо было бы сейчас достать из дедовской офицерской планшетки тяжёлый стальной кастет и со всей мочи ударить Белозёрову по макушке, чтобы раз и навсегда освободиться от этого мутно-розового позора страсти, гулко ухающего в ушах. Но вместо этого он тогда вытер лицо рукавом рубашки, застегнул ширинку, сказал Белозёровой «пока» и, не оборачиваясь, хотя она звала, выбрался из зарослей и почти бегом добрался до своего двора и скрылся за калиткой. А через месяц Ермолины всей семьёй уже переехали в Ярославль.

9

Предписания получили все одновременно в четверг после майских. Попади бумажки сначала к Лыковым, через неделю к Дадабаевым, потом к Афонину, ещё через месяц к Пуховым и Беляеву, ничего бы не случилось. Каждый бы решил: самого, слава богу, пронесло, не надо и высываться. Селязинские вообще тихие. За электричество платят по счётчику и вовремя, а если что берут не заплатив, так оно без того их по праву. Кого улучили за постыдным, поругается для порядка с администрацией, на всю улицу главу обматерит да успокоится. После и кусты вырубят на соседнем пустом участке, и траву вдоль дороги скосит. А куда денешься? Должен быть порядок.

Письма соседям Леонид разнёс по дороге домой вместе с «Судогодским вестником» и всем же рассказал, кому такие конверты доставил. Свой вскрыл ещё на работе. Предписывалось в двухнедельный срок, до двадцать шестого мая, снести незаконную постройку три на пять метров, иначе сулили штраф почти с его почтальонову зарплату. К письму прилагался снимок участка откуда-то сверху и с наложенным в компьютерной программе кадастровым планом. Красной штриховкой обозначалась баня, что построил он только-только в прошлом ноябре. Фотография была чёткая, не то что со спутника. Даже рожа мужика в пиджаке, изображённого на рекламном виниле, которым он покрыл крышу, оказалась хорошо видна.

– Вот же твари! – ахнул Леонид и получил выразительный взгляд от Оли Одиноквой, сидящей на приёмке корреспонденции.

Чмарёвское почтовое отделение обслуживало все окрестные деревни, но платили ничтожно мало. Леонид уже четыре года был на округу единственный почтальон, получал полторы ставки. Вторую половину – начальнице, что казалось справедливым и не обидным, потому как работала она за троих. Летом Леонид ездил на китайском почтовом велосипеде, выкрашенном в фирменные чёрно-синие цвета Почты России. Зимой ходил пешком, оттого письма и газеты с ноября по конец марта доставлялись не сразу. Кто торопился, приезжал на почту самостоятельно.

Леонид жил у родника, на самом краю Селязина, в подбрюшии большого Чмарёва. Когда-то между его хозяйством и домом Пуховых было ещё три двора и целый ряд домов напротив, с другой стороны улицы. Но теперь даже фундаментов не осталось. Один дом разобрали и перевезли на другое место в восьмидесятые, тот, что был ближе к дороге на Подолье, однажды загорелся, и следом полыхнули два соседних. Теперь пепелище заросло, и чмарёвские мужики время от времени уныло бродили по участкам с миноискателем, в надежде найти старинную монету или крест, но, разворошив траву и каменистую почву, выуживали на свет лишь гвозди да ржавые дверные петли. А что бы другое, когда почти триста лет жили селязинцы на этой земле незажиточно. Самый крепкий, бывший дом поповой дочки и, как тут называли, «богомолки» Параскевы, построенный на перегибе, самом высоком месте, таком, что из окон видны были не то что Подольевские зады, а крыши дальнего Окунева, стоял с проваленной крышей и торчащими из окон ветвями берёз. Параскева померла в год путча, девяноста пяти лет от роду. Тогда объявились родственники из города, отнесли старуху на погост, честь по чести устроили поминки для соседей, раздразили местных привезённой «посольской», снимали урожай с яблонь, а затем пропали.

Пару пустых участков соседи распахали под картофель. Остальные, обильно заросшие терновой сливой, летом скучали опутанные вьюном и сорной травой, а зимой засыпанные снегом. Одичавшие без полива и ухода яблони в саду Параскевы, тем не менее, регулярно плодоносили. Чмарёвские коровы, которых, до того как владелица пилорамы выстроила забор, гоняли через территорию бывшей совхозной фермы, теперь, пройдя вдоль стены заброшенного коровника, сворачивали в заросли, где хрумкали яблоками.

В прошлом октябре Леонид овдовел и теперь жил один. Дочь уже четыре года как окончила колледж, вышла замуж и переехала в Судогду, в квартиру с центральным отоплением и ванной. Неделю после похорон пожила с отцом, но он не выдержал, погнал назад к мужу. Слишком она ему показалась взрослой и чужой. Да и за жизнь в городе дочь отвыкла от местных удобств: сортир на морозе, душ в клетке, в загородке. Ныла. Это и понятно, летом нормально, а с конца сентября уже зябко. Нагреешь на печи ведро воды, встанешь ногами в тазик, поплещешься, а не то. Полина-покойница, пока была жива, Леонида пилила, чтобы наконец построил новую баню. Старая же, возведённая ещё дедом жены перед самой империалистической, ушла по окнам в болотину за родником. Уже и брёвен купил и по сырому успел снять кору, но тут Полина нехорошо заболела, и стало вовсе не до строительства. Лежали брёвна полтора года вдоль забора.

Если горе, либо водкой глушить, либо работой. После сороковин, пришедших почти на начало рождественского поста, вернувшись с панихиды, что отслужил отец Михаил, Леонид вылил остатки водки в бачок с краской. На следующий день он соорудил вороток с лебёдкой, а дальше в одиночку возвёл баню под крышу за месяц. Дочь звонила, предлагала мужа в помощники, но Леонид отказался. Не то чтобы он зятя чурался, нормальный парень, мент. Но человек только с суток пришёл, ему бы выспаться, а тут тесть со своей баней. Нет уж. Пусть потом приезжает париться.

Строил после работы и по выходным. Стропила из сушины поднял, на обрешётку пустил обрезки с пилорамы, торопился до снега принести их с огромных куч под селязинской горкой. Крышу покрыл плотным винилом с портретом какого-то мужика в галстук. Это спасибо Афонину. Тот работал монтажником в рекламной фирме, поделился тем, что осталось после выборов. Двери сколотил сам, не велика наука, а рамы попросил Пухова за копеечку, чтобы с проклейкой: у того лучше получится, всё-таки плотник. Только печку Леонид не стал складывать из кирпича, как думал вначале, а купил готовую, сварную из толстой нержавеющей стали. Ушло ползарплаты, но не пожалел. С конца декабря по март он с этой печкой в обнимку как с женой жил. В жизни столько не парился, как этой зимой. И не пил. Вовсе. А тут штраф и предписание снести.

Лыкову, к которому Леонид зашёл первому, назначалось оформить в аренду картофельное поле, распаханное на соседнем свободном участке. На снимке сверху это картофельное поле было обведено по контуру красной линией, поверх мелкой штриховки указывалась вычисленная программой площадь 0,014 га. Штрафом в письме также грозили, но сумму называли совсем страшную, исходя из кадастровой стоимости земли. Огромный, похожий на раздавшегося в талии медведя Лыков со свёрнутым на сторону носом и низким лбом растерянно тёр себе то бровь, то переносицу и смотрел на Леонида:

– Только жить по-человечески начал! Это какая же падла донесла?

Шурик Дадабаев, Шарофиддин по паспорту, а в крещении Александр, единственный в Селязине, кто не матерился, был религиозным человеком и в Чмарёвском храме Симеона Столпника служил алтарником при отце Михаиле на воскресных литургиях. Открыв конверт и развернув бумагу, он выругался столь грязно и столь непонятно-витиевато, словно все его степные предки до десятого колена стояли сзади и, похлопывая плётками по сапогам, подсказывали слова.

– Что? – участливо наклонил голову Леонид.

– Пруд. Пруд детям выкопал в конце участка. Как у всех. Пишут, если, чурка проклятый, не закопаешь свой сраный арык, мы тебе сыктым сделаем. Что за люди, Лёнька? Что за власть такая? Нет у русского человека угла, куда забиться, чтобы не нашли, не увидели. Скоро налоги на фруктовые деревья брать будут, как при Хрущёве. Мне ещё отец рассказывал. Это всё беспилотник поганый на Благовещенье летал. Хотел его из рогатки сенькиной сбить, да замешкался.

И верно. В конце марта несколько дней подряд над селязинскими дворами кружил дрон. Первым его заметил дадабаевский старший сын Арсений. Говорили, пожарники смотрят, чтобы никто не жег траву после зимы. Ну и не жгли. Дрону махали рукой, мол видим тебя, ничего такого не делаем. А если что погорело, так то и не мы вовсе. Мы, напротив, кругом молодцы, потому как потушили. Поди докажи, что не так.

Афонина грозили оштрафовать за веранду, пристроенную со стороны сада. У Пухова никто не отозвался, и Леонид просто сунул письмо в ящик.

Беляеву посулили штраф в несколько тысяч и предписали демонтировать забор, выступающий за фасад дома на два метра. После того как старый сгнил и рухнул под бампером незадачливого Паши-коллектора, Беляев заказал у Дадабаева сварить раму для ворот и накрутить на неё сетку рабицу. По совету Пухова сам протянул верёвку от края участка бабы Маши до края пуховского, забил по этой линии новые столбы, плотно утрамбовав щебнем и залив лунки устьев цементным раствором.

– Это что за херь? У вас так всегда?

Городскому Беляеву полученный документ показался несусветной дикостью.

– А что у остальных?

Леонид рассказал.

– Неужели платить собираетесь?

Вечером было слышно, как зычно и нетрезво матюгается приехавший с работы Пухов, грозитя порушить всё к эдакой матери, как рыкает в сумерки бензопилой, как принимается что-то пилить с той стороны дома, где ещё с середины прошлого лета на прикрепленном к сараю флагштоке то набухал вечерними туманами, то тяжелел инеем военно-морской флаг, но солидарный крик жены и дочери остановил, разбушевавшуюся стихию.

В пятницу к вечеру обычно тихое Селязино нехорошо гудело. Может быть, потому что замолкла работающая до того в три смены пилорама, но даже в низину, где стоял дом Леонида, доносился разноголосый мат мужиков и визгливый бабский перелай, пока на дальнем краю деревни, где первые дворы примыкали к забору, выстроенному вокруг два десятка лет как остановленного тока, не застрекотала сенокосилка кого-то из дачников.

Назавтра Леонид ждал дочь с зятем. К их приезду накануне варил щи, ставил в погреб. После работы вспомнил повод да зашёл в магазин у остановки, где жена Лыкова продала ему поллитровку «Русского Малюты».

– А болтали, ты больше не пьёшь, – покачала она головой, принимая от Леонида сотню и сгребая мелочь с пластмассовой тарелочки.

– Не пью, – смутился Леонид и пожалел, что, как обычно, не выбрал лабаз напротив почты, там работали чмарёвские, и на селязинцев им было плевать.

– Вот и не пей. Глядишь, всё наладится.

Что должно наладиться, Леонид понял не сразу. Полину уже не вернуть, а в остальном, по местным понятиям, всё у него и так в полном ажуре: работа, дом, дочь замужем за полицейским капитаном, которому до майора всего два года. И самому Леониду летом должно было исполниться только сорок три. Возможно, лыковская жена намекала, что не век ему ходить вдовцом. Так это и вовсе не её дело. А до чужого он не охотник.

На Леонида имели виды многие, в том числе замужние, но ко всем на своём участке он относился одинаково доброжелательно. Оля Одинокова, совсем молодая женщина, но из серьёзных, передавая ему пачки корреспонденции, вздыхала чуть ли не в голос. Но тоска по Полине, с которой четверть века прожили в счастье и покое, хотя и женился, как говорили в Чмарёве, «по залёту», не отпускала.

Они даже и не гуляли до того случая, когда ровно двадцать семь лет назад, таким же тёплым майским днём, после субботних танцев, он вдруг вызвался её проводить. Разгоряченный выпитым на крыльце клуба портвейном, Леонид по дороге увлёк девушку на сенокосильню,

где, на её же модном плаще цвета фуксии, расстеленном поверх колкого сена, оба лишились невинности. Где-то в темноте огромного, продуваемого ветрами каркаса, накрытого сваренной из листового железа крышей, были слышны вздохи. В разных концах сумерка этого приюта вспыхивали яркие точки сигаретных огоньков и поверх покровительственного басовитого матерка парней шелестел девичий смех. Сюда многие приходили заниматься любовью.

Потом они шли тропинкой через поле до Селязина мимо совхозного выпаса, и здесь в поле в четверть первого ночи было ещё светло, словно в далёком Ленинграде, куда возили их с классом на экскурсию. Только не торчал в небе чугун и асфальт пролётов разведённых мостов. Когда они остановились в месте, где тропа упиралась в дорогу на Подолье, он взял девушку за плечи, повернул к себе, решившись поцеловать, и вдруг разглядел. И словно бы они до того не учились в параллельных классах и не виделись ежедневно в школьной столовой, словно бы не встречал её в магазине, на купалке у моста через Войнингу, на остановке автобуса во Владимир или на рынке в Судогде. Словно бы несколько минут назад не рыдала она беззвучно от боли и наслаждения, обхватил ладонями его голову. Будто позволила посмотреть на себя впервые. И лукавый кривляющийся бесёнок, только что распахивавший в его ноги и руки до самых кончиков пальцев колкое горделивое ликование, что стал мужиком, что трахнулся с бабой, вдруг замешкался, не поспевая за колотящимся сердцем. Замешкался, да и был облачком пара выдохнут в ладан ночного разнотравья, под нездешние звуки медляка «Children's Crusade», доносящиеся от клуба, под шелест высоких частот и тирольский вокал Стинга над Синеборьем, от Чмарёва и до далёкого Смыкалова.

Эту песню в тот год ставили ровно перед старой доброй «Ticket to the Moon», предназначенной с незапамятных времён для последнего и белого танца. И Леонид взял за руку Полину и повлёк вверх по дороге, высохшей вослед за первой майской жарой и сжавшей под вечер сиреневые кулачки цикория, до сада Параскевы, где в зарослях чубушника позади старой ветлы они вновь рухнули в весенний обморок.

Леонид всякий раз потом, проходя мимо, замирал в тени этой огромной, разлапистой старой ветлы и смотрел на Синеборье, видное отсюда чуть ли не лучше, нежели от кочегарки. Никто не знал границ Синеборья, вряд ли они даже были определены. Начиналось оно несомненно здесь, елово-берёзовым подлеском на задах их с Полиной тридцати пяти соток, а где заканчивалось, вопрос спорный. Как-то попал он в Судогодскую больничку с подозрением на язву желудка. Лежал в палате с мужиками из окрестных деревень. Зарубались по этому поводу, что Синеборье, а что уже и не Синеборье. Словно это так важно. Были бы пьяные, подрались. А так просто нервно бегали во двор курить. Ну как объяснить, что прав? Не проговоришься, что начало ему – стон девушки, в которую влюбляешься в десятом классе, а конца его и нет вовсе. О том промеж мужиков не принято, засмеют. И нефиг. А теперь и курить бросил.

Сгорела Полина от той же болезни, от которой и тётя Люда Семрина, Леонидова тётца. Тётя Люда не позволяла звать себя ни мамой, ни по отчеству – Людмилой Анатольевной, только тётей Людой. И такое имя казалось Леониду уютным, очень подходящим этой красивой большой женщине, тогда совсем молодой, всего-то тридцати пяти лет.

– Дядя Лёня, – представился он два десятка лет спустя молодому розовощёкому лейтенанту, приехавшему знакомиться с будущим тестем в парадной полицейской форме, – а это тётя Полина. Никаких отчеств. У нас не принято.

То, что Полина беременна, всем стало понятно в конце второй четверти. До того она аккуратно скрывала растущий живот под вязаными балахонами да под дутой синтепоновой курткой. Беременная школьница – всегда чрезвычайное происшествие.

Уже, казалось бы, десятый класс, скоро выпускной, в мае семнадцать. А семнадцать – это вовсе самостоятельный возраст. Тётю Люду вызвали в школу, прямо в учительскую. Леонид забрался на брусья школьного стадиона и в освещённых окнах хорошо мог различить её, стоящую на фоне дверного проёма. Она держалась спокойно, иногда что-то говорила. Это было

понятно не по тому, как шевелятся губы, с такого расстояния не различить, а по тому, что тётя Люда вдруг начинала чуть кивать головой. Она всегда кивала, когда говорила. Эту манеру переняла и Полина, а потом их с Полиной дочь. Педсовет, как называлось судилище, куда вызвали тётю Люду, затянулся больше чем на час. Леониду вдруг показалось, что он обязан пойти туда и встать рядом, принять огонь на себя, сказать, что виноват только сам. В конце концов, что сделают? Из комсомола выгонят? Да он и так не в комсомоле, нет уже никакого комсомола, был, да вышел ещё минувшим августом. Из школы? У него и прогулов нет, и оценки, пусть не самые распрекрасные, но четвёрок и пятёрок больше, нежели троек. Биология и химия не в счёт. Так что? Матери наябедают? А матери всё равно придётся рассказать, не сегодня, так завтра. В тюрьму же не посадят – несовершеннолетний. Хотя, конечно, классно попасть в тюрьму из-за любви. Леонид слез с брусьев, обошёл школу, вошёл в дверь, в предбаннике постучал друг о друга зимними кроссовками (это отчим привёз из Москвы), махнул рукой уборщице: «Я в учительскую, вызывают» – и побежал вверх по лестнице. Свет горел только на повороте перед кабинетом биологии. В коридоре, как и на лестнице, было темно.

У самых двойных дверей в вестибюль второго этажа от окна словно метнулась тень, и вот уже Полина крепко держала его за рукав.

– Не ходи. Мама сама. Только всё испортишь. Специально тебя караулю.

Леонид невсерьёз повырывался, скорее для порядка, но послушался. Они под руку спустились к раздевалке. Полина под тяжёлым взглядом уборщицы забрала куртку, оделась, намотала сверху шарф.

– Я в вашем возрасте... – начала говорить уборщица, но слушать её не стали. Смеясь выбежали за дверь, которая сзади привычно хлопнула, поджата тугой пружиной. Назавтра начинались длинные зимние каникулы.

Вообще селязинцы знали, что Леонид ходит к младшей Семриной. Подольских в Селязине не трогали. Основные стычки у селязинцев были с ближайшими соседями – чмарёвцами. Эта иррациональная вражда тянулась с незапамятных времён, с грибного соперничества, когда между большим Чмарёвым и маленьким в одну улицу Селязиным ещё шелестели кроны берёзовой рощи, в которой и те и другие собирали по утрам лисички. На месте рощи после возникла совхозная ферма с коровами, ремонтные мастерские и ток, остался только небольшой кусочек вокруг озера и привычная деревенская неприязнь.

Дом, где родилась и жила Полина, стоял с самого края Селязина. Леониду достаточно было подняться мимо силосной ямы по дороге, как уже можно было сворачивать на тропу к роднику, им самим и натопанную. Он старался быть незаметным, но его всё равно замечали. Повезло, что в тот год старшие парни уже решили свои сердечные дела, кто-то даже успел обжениться, а младшие и одноклассники Леонида хороводились с чмарёвскими барышнями. С Полиной летом пытался гулять сын дачников, даже прижимался в видеосалоне, но осенью и зимой он не появлялся. Да и Полине случайный ухажер был неинтересен.

Тётя Люда про то, что дочь в положении, узнала первой. Та сама и рассказала, попросила совета. Бывает ещё, пусть редко, но бывает, когда дочь с матерью лучшие подруги. Так повелось, что после того как в год московской Олимпиады утонул на водопаде близ Лаврово Семрин-старший, они стали спать в одной кровати. Полина рассказывала, что проспала в обнимку с мамой почти до тринадцати лет. Замуж тётя Люда не вышла, хотя звали. Работала в бухгалтерии совхоза, получала хорошую зарплату. Если что требовалось по хозяйству, просила соседей, расплачиваясь всегда деньгами, долги и обязательства не копила. А когда появился Леонид, тот сразу взял хозяйство в свои руки. Теперь он каждый день провожал Полину после уроков. Пока мать девушки была на работе, он уже успевал перетаскать с родника воду в бочку для полива или расколоть с два десятка поленьев на мелкие чурки для растопки. Перед самым возвращением со службы Семриной-старшей обнимал Полину, целовал и торопился нижней тропой в Подолье. Если женщина выбирала дорогу не через ток, а заходила в магазин и шла

потом по тропе мимо сенокосильни и кочегарки, то видела его, спешащего по полю в серо-голубом кружеве цикория и пастушьей сумки. В августе Леонид набрался смелости и в выходной день, надев светлую рубашку и галстук, пришёл в гости. Принёс банку венгерского компота из слив и железную коробку с немецким печеньем. Очень смутился. Но уже через час сидел на диване рядом с тётёй Людой и рассматривал Полинкины детские фотокарточки.

Свадьбу спешно сыграли в январе, за день до окончания зимних каникул. То ли тётя Люда договорилась в судогодском ЗАГСе, то ли так было положено по закону, но расписали молодых быстро. Мать Леонида поцеловала сына в макушку и перекрестила, отчиму было всё равно, лишь бы Леонид свалил куда, хоть к жене, хоть в армию, да хоть на зону. Он к женитьбе пасынка отнёсся по-деловому: всё организовал, снял зал для банкетов в Судогде, подарил денег на хозяйство и отпустил жить в Селязино, в большой столетний тётчин дом с резными подзором и очельями. Эти очелья, как и наличники, Леонид ещё осенью заново покрасил белой масляной краской, отчего дом казался удивлённо приподнявшим брови. Дочь родилась в конце марта, а уже к двадцатому октября тётя Люда померла. Случилось всё быстро. Врачи сказали, что у неё это давно, только пила таблетки и не жаловалась. Так и Полина, не жаловалась, а потом стало поздно.

Утром Леонид встал как обычно, прибрался после вчерашнего в доме. Последний раз так крепко он выпил, когда били коллектора. Почти отвыкшая от водки голова болела. В полдень начал топить баню. Свои приехали только к обеду. Первым делом Леонид отправил зятя с дочерью париться, а сам с трёхлетней внучкой устроился на крыльце сарая, вырезал из ветки собачку и слушал доносящиеся из парной хлёсткие шлепки веника и визг дочери.

– Повезло вам, дядь Лёня, с печкой. Знатная баня! У начальника РУВД паримся, вся прелесть, что на берегу, можно в воду сигануть. Но пара такого не даёт, кубатура иная. – Зять выпил стопку и теперь сидел на солнышке, вытянув босые ноги с розовыми крупными ногтями.

– Что толку? – Леонид поднял брошенный зятем окурок и затушил в банку из-под зелёного горошка. – Велят сносить. Штрафом пугают.

Зять нахмурился. Леонид ходил в дом, вернулся и протянул давешнее письмо. Зять присвистнул, раскрыл конверт и бегло просмотрел содержимое.

– Ну, это пока даже не постановление, только предписание. А вот когда по результатам повторного облёта уже мы приедем, там будет протокол, административка и штраф. На этой неделе нас три раза в Красный Богатырь отправляли оформлять. Сейчас самый сенокос, – зять ещё раз взглянул на дату предписания, – похоже, что в Селязино к концу мая. У нас это, наверное, даже в плане. Кампания идёт, машину не остановишь. Из районной администрации указания спускают. Они все документы одним числом выписывают, чтобы летать потом удобнее. Ну и нам оформлять проще.

– И не договориться? – Леонид почувствовал, что ноги у него неприятно тяжелеют, как бывало перед дракой в юности или если вдруг грипп.

– Когда повторный снимок в базу внесут, нет. Там уже галка, что предписание выслано. Туда же отметку о протоколе, потом о решении суда, потом об оплате, ну и далее, до бесконечности. Всё через вычислительный центр во Владимире, чтобы, как это модно, никакой коррупции, ну и вообще.

– Что же делать?

– Дядь Лёнь, надо было заранее разрешение оформлять.

– Так кто знал! Раньше ничего не оформляли. Надо тебе баню, строишь баню. Надо крыльцо, строишь крыльцо, сарай – да сколько угодно. Земля-то своя.

– Ничего здесь своего нет, видимость одна. Может, было когда-то, да и то профукали. Своё только у тех, у кого деньги. А у кого их нет или мало, тому не положено. Погоди, дядь Лёнь, ещё не такое начнётся, ещё пожалеете райкомы с парткомами. Родичи мои, дня не проходит, вспоминают. – Зять сморщил нос. – Только без толку.

Когда приезжала дочь, Леонид стелил молодым в спальне, внучку клал в гостиной. Сам и так спал на кухонном диванчике. На их с женой кровати заснуть не получалось, хотелось выть. Стоило бы переклеить обои, убрать вещи жены из шкафа и комода. Но и это за семь месяцев, прошедших с похорон, сделать не решился. Он регулярно пылесосил во всём доме, включая спальню, вытирал пыль с письменного стола Полины, с телевизора, с кожуха японской швейной машинки, что подарил жене аккуратно в тот год, когда уволился с прежней работы. Но была эта комната теперь вроде для гостей. Он уже так и говорил дочери: «ваша комната».

Вот и сейчас Леонид разложил диван на кухне, выключил верхний свет, поправил торшер у изголовья и только собирался прилечь с книжкой, как услышал, как кто-то постукивает в окно. Он накинул на плечи куртку и вышел по двор. У калитки стоял Пухов.

С Пуховым, который был старше Леонида на двенадцать лет, хотя и оказались соседями, поначалу почти не общались, лишь «здрасьте-здрасьте». Мать Пухова ещё в семидесятые разругалась с тётёй Людой, да так, что в скандал втянули обе деревни, а вылилось всё в товарищеский суд. Поводом послужил всё тот же ключик, источник, тощая струйка воды, испокон веку вытекающая на краю деревни из-под огромного камня. Пуховской матери, кстати, троюродной сестре матери Полины, показалось, что Семрины берут слишком много воды, не только для питья, но и на полив.

– Ладно бы просто брали, – призывала к участию мать Пухова селянцев, – так хотя бы чистили водозабор, падалицу в канавке выбирали. Не дождёсси! Всё пусть другие, не они!

Была это, конечно, откровенная напраслина. Однако, когда семьи живут друг подле друга не то что десятилетиями, а более сотни лет, подобного мусора между дворами набирается достаточно. Леонид с Пуховыми в контры не вступал, но и друзьями их тоже не называл. Просто соседи. Не ругались, но и вместе не выпивали.

– Привет, сосед! – поздоровался Пухов и протянул руку. – Чё мент твой говорит? Будут штрафовать?

Пухов казался нетрезв, но не так чтобы очень, а лишь до хитроватого блеска в глазах и глянцевого румянца. Он выслушал Леонида с широкой улыбкой, и по всему выходило, что ответ его не удивил, а лишь подтвердил что-то, что он и без того знал, и даже, напротив, раззадорил. Леониду почудилось, что сосед даже чуть подпрыгивает от возбуждения.

– Беляев в своих интернетах нашёл, что эти пидоры только два дрона купили. Больше у них бюджетом не предусмотрено: тендер-херендер. Два – не двадцать, справимся. Да хоть бы и двадцать, нехер им тут летать! Ты эта, с нами?

– Куда? – не понял Леонид.

– В дружину. Поставим дозоры, возьмём ружья. Сунутся, посбиваем к едреням.

Леониду стало кисло во рту, как в детстве, когда облизывал контакты батареек.

– Если поймают, посадят за порчу казённого имущества.

– Всё продумано. Не узнают. Беляев с Лыковым план рисуют. Лыков был против, чтобы тебя звать, потому как твой зять – мент. Ну а я говорю: и что же, что мент? И хорошо, что мент. Авось, если что, посмотрит не туда или предупредит.

– Ты семью мою только в это дело не путай!

Леониду ярко представился солнечный день, полицейский козелок, покачивающийся на рытвинах единственной улицы Селязина, и сам он внутри козелка, старающийся жадным взглядом впрок лет на пять распахать по карманам памяти родные пейзажи.

– Хер с ним, с ментом. Но ты, эта, нам точно нужен. Каждый человек на счету. Дадабаев брата зовёт, Афонин шурина. Остальные кто сам, кто с сыновьями. Как в былые времена.

– В былые времена, если что не так, жгли усадьбу и всей деревней в мешеру уходили. А куда сейчас уйдёшь? И лесов нет, и людей не осталось.

– Ты, эта, Опанасенко, не юли. С нами или как? – Пухов выстрелил окурком в сторону родника и посмотрел на Леонида в упор.

Леонид молча кивнул.

– Вот и молоток! Своим подольским тоже письма счастья отнёс? Есть там кого из мужиков привлечь, чтобы днём дежурили?

Леонид подтвердил, что и в Подолье получили, и в Окунево.

– Люди до зарезу нужны. Секреты надо ставить с севера и юга. Неизвестно, по какому маршруту полетят. Лыков клянётся, что со стороны Окунева пойдут, из-за Войнинги. Там их машина с оператором остановится. От Чмарёва ближе, но мы спрашивали, никто не видел, чтобы дроны запускали.

Леонид называл фамилии бывших соседей и одноклассников. Пухов одобрительно кивал.

– И ещё. Эта... – Пухов опять замялся. – Не против, если завтра у тебя соберёмся? Живёшь один, вдовец, места много. У всех либо жёны, либо дети, либо мамыши-пенсионерки. А чем меньше бабы о том знают, тем лучше. Эх, сюда бы башенку нашей бэ-чэ два да ещё комплекс радиопомех с семёрки! – Пухов оскалился, словно собрался чихнуть или зарычать, отчего усы его встопорщились и сам он стал похож на морского котика. – Ничего-ничего, сосед! Не на тех они напали. Беляев говорит, что надо возвращаться к классовому сознанию. Селязинцы за всё Синеборье в ответе. Глядишь, по мещере докатится до Рязани, по ополью до Волги. А там... – Пухов мечтательно поднял глаза к небу.

Леониду совсем не хотелось знать, что потом. Ему только жаль было своей бани и почему-то Полинки. В сознании баня и покойная жена вдруг оказались неразрывны.

– У каждого свои мёртвые, которых надо защитить, – пробормотал он под нос, когда они попрощались с Пуховым.

Леонид сказал это тихо, но Пухов, вероятно, что-то расслышал. Уже отошедший порядком, он остановился и, обернувшись, вопросительно посмотрел на Леонида.

– Говорю, живы будем, не помрём.

Пухов кивнул, поднял руку вверх со сжатым кулаком и пошёл к себе. Леонид постоял немного на крыльце, вдыхая влажный с дымком весенний воздух. На перегибе возле дома Лыкова зажёгся фонарь, следом зарозовела, нагреваясь, лампа на столбе перед калиткой Пухова. Запустилась пилорама, и звук от неё, мокрый от вечернего тумана, пробежал мимо Леонидова забора и далее по давно уже не торной и потому заросшей ивняком и ольшаником нижней дороге к Подолью.

10

Когда отец Михаил добрался до площади, часы показывали четыре, небольшой ряд лотков почти опустел. Лишь за первыми двумя ещё стояли тётки с пуками редиса, зеленью, венками укропа, банками с прошлогодней закаткой и коробками с рассадой – такая же, как и в детстве, вялая торговля. Неподалёку примостилась синяя овощная палатка с египетскими фруктами, мытой израильской морковью да турецкими помидорами. К прилавку стояла небольшая очередь. Чернявый азербайджанец в «адидасе» и кожаной куртке, словно провалившийся через дыру времени из девяносто третьего, подтаскивал коробки с вишней от кузова припаркованной тут же «газели».

Отец Михаил покрутил в руках и купил несколько крепких перламутровых головок чеснока у тётки с рассадой, сунул в карман куртки, пересёк площадь, миновал промтоварный и оказался у входа в гастрономию на бывшей улице Урицкого, ныне почему-то Ушакова. Здесь раньше грузчиком работал Шахрай-старший. Соседняя дверь, над которой теперь висела вывеска «Бройлеры», была входом в рыбный магазин. У рыбного собственного грузчика в штате не числилось. Заведующая платила бывшему участковому по полтора рубля из своих, если нужно было разгрузить поддоны с мороженым хеком или мойвой. Теперь на дверях белела табличка «ИП Шахрай». Отец Михаил хмыкнул и зашёл внутрь. Всё как и в других подобных магазинчиках: полки с консервами, холодильник с молочкой, холодильник с колбасами, лотки с выпечкой, цветные конверты сотовых операторов на кассе. Стеллаж с алкоголем. За прилавком молоденькая девушка, вчерашняя школьница с аккуратным колечком в носу.

Отец Михаил вновь мысленно прочёл Иисусову молитву, протянул продавщице двести рублей и попросил пузырёк трёхзвёздного российского коньяка, отвратительного пойла, единственное, что, в наказание за слабость и потворство страстишкам, он позволял себе, кроме водки. Девушка поставила коньяк на прилавок, отсчитала сдачу, не глядя протянула отцу Михаилу и вновь уткнулась в телефон.

По Казанской отец Михаил поднялся до Ленина и через минуту уже был возле второй школы. Как и в детские годы, она стояла, крашенная в светло-голубое. Фасад обновили недавно. Пыльные кустики травы сохранили на себе капли краски. Тут же в изобилии валялись колотые куски шифера. Во дворе с грохотом разгружали доски с прицепа. Отец Михаил взялся было за ручку двери, но передумал, прошёл вдоль фасада, свернул на Вторую Овражную, куда выходили окна кабинета труда. Там вместе с одноклассниками они когда-то разбили цветочную клумбу. Теперь здесь высились заросли чертополоха. Отец Михаил достал из кармана коньяк, отвернул пробку и отпил половину. Через пыльные стёкла класса проблёскивал металл сверлильных и токарных станков. Ему вспомнились тугие кнопки включения на станине с облупившейся краской, которую он должен был отодрать, аккуратно постукивая.

Трудовик Мишеля почему-то не невлюбил и с наслаждением ставил пары только за не сметённые стружки или расстёгнутый рукав рабочего халата. Четвёрку получилось выпросить, лишь отработав «барщину». Целый месяц последних летних каникул в Тутаеве пришлось отдать на обустройство кабинета это самого труда. А июнь, как назло, пришёл солнечный, пусть и с зябкими белёсыми утренниками от поднимающегося с Волги тумана. Откалывая тонким зубилом с металлических верстаков старую огнеупорную краску, Мишель поглядывал в окно, то и дело замечая компании одноклассников, спешащих по своим летним делам, и приходил в ярость, от которой хотелось запустить это самое зубило в стекло или воткнуть сверло в грифельную доску. Сам трудовик заходил нечасто. Утром он открывал кабинет, включал радиоприёмник и опускал кипятильник в большую эмалированную кружку. Когда вода закипала, заваривал чифирь, отламывая кусочки спрессованного чая от завернутого в толстую фольгу брикета, закуривал папиросы «Любительские», водружал на нос очки, отчего становился похо-

жим на писателя Чехова, только без бороды, и разворачивал на учительском столе газету «Ярославский рабочий».

– Не шкрябай, не шкрябай! Композитор Шкрябин тут нашёлся. Подстучал и отколупывай! Что ты края у ей шлифуешь? Потом совсем не отдерёшь! – вдруг орал он на весь кабинет, заметив, что Мишель делает что-то неправильно.

Мишель прекращал «шкрябать» и виновато опускал голову.

– Не стой как исусик! Что стоишь? Ждёшь, когда из столовой сверху котлетка на кумпол упадёт? Взял струмент, подставил, приладил, аккуратно молоточком, поменял угол, опять молоточком, потом шпателем. Да не лупи по нему! От таких, как ты, все верстаки уже в кавернах. Аккуратно! Учись, интеллигенция, в жизни всякая наука пригодится!

Мишель молчал, сопел, прилаживал, подставлял, стучал, поддевал, отколупывал и ждал, когда трудовик уйдёт. Ждать приходилось недолго. Допив чифирия, учитель вставал, брал со стола коробку с папиросами, спички и, тяжело прихрамывая на искалеченную на фронте ногу, отправлялся в кабинет астрономии пить водку с чертёжником, с которым вместе служили.

Оставшись один, Мишель запирает дверь, включает рубильник токарно-фрезерного станка, зажимал в кулачках шлифовальный круг и доставал из сумки-планшета уже почти готовый кастет, изготовленный тут же, в этом кабинете, выточенный из цельного куска железнодорожной шпалы. Кастеты среди мальчишек были редкостью. Обычно все носили свинчатки, которые выплавляли на пустырях, выдавливая форму из глины прямо на земле, чтобы залить в неё расплавленный в консервной банке аккумуляторный свинец. Пуляжники хвастались трофейными немецкими. Но у тех были и длинные клинки с надписью «Got mit uns», выменянные за спирт-гидрашку у старших. Поголовно все мечтали о пистолетах Valter. К ним подходили отечественные патроны ГАУ 57-Н-153, выпускавшиеся в тридцатые массово. Они ещё оставались на некоторых складах. Их выменивали у прапорщиков на медицинский спирт. У Ермолова-старшего спирт был.

Зачем Мишелю понадобился кастет, он и сам не смог бы сказать. Времена драк улица на улице в Тутаеве уже прошли. О них рассказывали с ностальгией, как и о воровских малинах на правом берегу, разворошённых органами сразу после войны. Рассказывали, что в одной такой малине банда отстреливалась из пулемёта, а когда приехал грузовик с подкреплением из Ярославля и Костромы, попали в него из миномёта, положив целый взвод. В конце пятидесятых эта история закончилась, а в начале восьмидесятых о том рассказывали, как о взятии Карфагена.

В войну фронт не докатился не то что до Ярославля, но даже до Горького, копанку везли из-под Волгограда. Мишель упрашивал отца взять его в Камышин, где жила двоюродная бабка и куда дед с регулярностью два раза в год ездил весной и осенью. Он надеялся оттуда самостоятельно на автобусе добраться до Волгограда и прошерстить окрестные леса. Но этого так и не случилось. Двоюродная сестра деда умерла, дом её отошёл чужим людям, и Камышин стал ещё дальше, чем был до того.

Что касается кастета, то Мишель несколько дней ходил пилить рельс. Он нашёл его в канаве, однажды, наверное, ещё при промышленнике Мамонтове, упавшим туда с фуры и оставленным ржаветь по спешке или по бесхозяйственности, а может быть, по умыслу какого учётика, на приписках сколачивавшего себе небольшой капитал. С железной дороги всегда кормились многие слабые и многие наглые от Ярославля до Александра и от Александра до Сергиева Посада, за куполами которого Москву из этих мест было и не увидеть. Рельс этот с царскими клеймами оказался стали какой-то очень высокой марки, звонкой и вязкой. Мишель загубил несколько полотен у дедовой ножовки, прежде чем стальной дециметр наконец упал на землю. Он завернул его в кусок брезента от плащ-палатки, перетянул бечёвкой и отнёс домой, где, перед тем как впервые взять с собой в школьные мастерские, несколько дней хранил в ящике под кроватью. Опасаясь быть застигнутым за обработкой детали, Мишель решил, если что, признается, мол, делает рукоятку к сабле из реквизита школьного драмкружка. Там дей-

ствительно был некий тупой клинок с гардой из загнутой рейсшины и рукоятью, наспех смастерённой из обломка швабры. Клинок использовался во многих постановках. И Мишель, только что с успехом сыгравший в пушкинском «Каменном госте» покойного мужа Донны Анны, даже на репетициях появлялся на сцене актового зала с этим клинком на поясе.

Фрезой рельс был аккуратно располовинен, по процарапанным линиям отпилено лишнее, затем на сверлильном станке намечены направляющие отверстия, чтобы сверлом уже большего диаметра подготовить отверстия под пальцы. После того как на заготовке проступили основные контуры изделия, Мишель вдруг перестал волноваться, словно уверенная мощь рождающегося оружия придала сил своему мастеру. Он теперь реже включал станки, больше работал рашпилем. Уже не смотрел с тоской в окно, а переживал, как бы успеть доделать кастет к концу июня, когда школа закроется до осени, а они переедут в Ярославль. Успел. В день, когда трудовик с ехидной усмешкой переходил от одного верстака к другому, брезгливо колупал жёлтым ногтем оставшиеся островки краски и отпускал свои привычные шуточки про котлетку из столовой, исусика и дохлого воробья, кастет, уже совсем готовый, лежал в планшетке.

– Ладно, гуляй! – махнул рукой трудовик, и Мишель получил свободу.

Ему не терпелось показать кому-то кастет. Конечно, лучше всего было бы показать деду. Тот знал толк в оружии, был на передовой во время атаки Гудериана на Москву, ходил на охоту, имел три ружья, в том числе старинный немецкий Kettner с серебряными накладками на цевье и тремя кольцами на стволах. Была у деда и пара огромных охотничьих ножей, острых как бритва и запрещённых Мишелю. Сам же с ножами управлялся лихо, метал их в забор и показывал приёмы рукопашного боя. Казалось, что он просто боксирует, но в правой руке вдоль кисти, прижатый к лучевой, сверкал клинок. Ермолин-старший тщательную и аккуратную работу уважал, но пуще уважал закон и за кастет мог серьёзно наказать. Ладно бы наказать, он мог отобрать с таким трудом изготовленное оружие, настоящее оружие, принадлежащее только Мишелю, средоточие его уверенности в себе. Увы, но деду показывать совсем было нельзя, одноклассникам тоже, те разболтают. Можно было, конечно, показать тем самым парням из путяги, но это могло закончиться ещё хуже. Те дружили со шпаной и уголовниками. Не дай бог подловят и отнимут. И никому не пожалуешься, сам виноват. Получалось, что рассказывать о кастете нельзя. Он лежал в планшете, тяжёлый и грозный, завёрнутый всё в тот же кусок брезента.

После той ночи в зарослях малины на склоне, когда Лена Белозёрова в очередной раз выдоила до капли его юношеское либидо, Мишель от греха подальше решил кастет с собой не носить. Он перекочевал в щель между досками пола под письменным столом в его комнате, где у Мишеля давно был оборудован тайник. Потом отправился багажом в Ярославль. Вообще, так получилось, что первым, кому Мишель показал кастет, был Шахрай. На того кастет произвёл впечатление, хотя виду он не подал.

Но на миг приподнятые в изумлении брови выдали в Шахрае волнение.

– Ничего так! Хорошо, додумался на взрослую руку сделать. А то бы фиг потом пальцы просунул.

Михаил действительно сделал кастет на вырост. Он даже измерил линейкой кисть деда, сказав, что это ему надо для задания по рисованию. Дед хитрости не заметил, рисовал Мишель прекрасно, и мать, приехавшая на неделю погостить к сыну и попавшая на сборы к переезду, даже говорила о намерении отдать мальчика на подготовительные курсы в ярославское художественное училище. Впрочем, Ермолин-старший материны фантазии не одобрил, а она не настаивала. Дед любые «художества», будь то рисунок, живопись, стихосложение или игра в школьном театре, за настоящее занятие в жизни не считал и утверждал, что прежде всего у человека должна быть профессия, а потом баловство. Сам же прекрасно пел романсы, аккомпанируя себе на кабинетном немецком фортепиано, писал акварели «на пленэре», читал по-гречески и знал латынь, гораздо лучше, нежели средний биолог или врач. Были это не только

остатки гимназического образования, но и семейное воспитание, то, что закладывалось в деда, его братьев и сестёр в доме прадеда во Владикавказе, который был почему-то семьёй покинут. Не осталось ни портрета, ни фотографии прадеда, тем паче прапрадеда. Мишель лишь знал, что прадед был врачом, а прапрадед служил в казачьем корпусе ещё под командованием Ермолова.

После дедовской кисти Мишель измерил свою, создал сложную пропорцию и рассчитал расстояние между отверстиями под пальцы. Как оказалось позже, рассчитал он верно. Будучи студентом второго курса (конечно же, он поступил), уже совсем взрослым человеком, он, если никого не оказывалось в комнате, нет-нет да и доставал кастет из чемодана, где тот лежал, спрятанный в носок. Мишель брал кастет в правую руку и вставал в стойку перед зеркалом, глядя на плакаты с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван-Даммом на стене. Он уже занимался боксом, даже успел получить первый разряд, потому с опущенным подбородком и ссутуленными пружинами мускулистых плеч, готовых вмиг выстрелить короткими джебами, он смотрелся внушительно и нравился самому себе. В юности важно себе нравиться. Ощущение собственного несовершенства приходит позже, когда чего-то не достиг или, наоборот, уже достиг. Чтобы ощущать силу, кастет уже вроде как не требовался. Но Мишель всё равно брал его с собой, когда ходил ночью до платформы «Университет» один. Там на тёмных, без одного фонаря, дорогах Темяхино, вдоль щербатых заборов, на скамейках в темноте курила и выпивала местная шантрапа. Впрочем, в его спортивной походке было достаточно уверенности, чтобы никто даже не просил закурить.

А на абитуре кастетом пользовались как столовым прибором. Мишель получил с оказией из дома посылку, полную грецких орехов, и они вдвоём с Шахраем по очереди кололи тяжёлой железкой орехи на плохо отшлифованной плите чёрного габбро, прошлыми поколениями студентов стибренной на задах камнерезки геологов и принесённой на шестой этаж первого общежития, куда разместили иногородних абитуриентов вычислительного факультета. Это оказалось совсем рядом со зданием Двенадцати коллегий, через мост Строителей. Общежитие было огромным, занимало целый квартал. Когда-то здесь жили даже физики и математики. Но после переезда четырёх факультетов в Петергоф остались лишь гуманитарии, абитура да профилактика.

В комнате их с Шахраем оказалось четверо. Целый этаж закрыли на ремонт, и комендантша подселила друзей к третьекурсникам-германистам. Германисты за первые два года в университете успели обрасти серьёзным бытом: запрещённые в общаге плитка и кипяильники, кастрюли, тарелки, ворох списанного, но аккуратно залатанного экспедиционного обмундирования, выцветшего из хаки до полной белизны. Фанерный ящик из-под неведомого гэдээровского прибора, уведённый, по их словам, со двора НИФИ, был полностью набит книгами.

Днём Мишель с Шахраем занимались, а по вечерам всей компанией шли гонять мяч под стены Петропавловской крепости. Здесь пахло водой от Невы не так, как пахло от Волги, а словно бы тиной или даже рыбой. Иной раз, обманутые белой ночью, они заигрывались до того часа, когда разводились мосты. И тогда лишь, разгорячённые, с запутавшейся в мокрых волосах мошкой, возвращались в общагу. И там даже среди ночи на шесть этажей воняло подгорелой картошкой, сбежавшим кофе, кислым болгарским табаком, марихуаной и заграничными духами девушек с филфака. У филологинь во все времена были самые модные платья и самые изысканные духи.

После волжских городов Ленинград казался чересчур шумным и сырым. Влажный шум огромного города приносил утренним бризом с Финского залива, со стороны моста Лейтенанта Шмидта, где всякое утро не то заводские, не то пароходные гудки аукались с гудками многочисленных буксиров. Им вторили таксомоторы, гудящие сердито и требовательно, троллейбусы, подражающие тоном и продолжительностью пароходам, и тупорылые рыжие икарусы,

которые, казалось, не гудят, а вздыхают, прежде чем рыкнуть в небо облаком чёрного дыма. По Добролюбова звенели трамваи, в ресторане «Кронверк», помещавшемся в пришвартованном напротив зоопарка паруснике, грохал ресторанный оркестр. А сотни и сотни подошв тёрлись ступенями набережной, ведущими к мосту Строителей.

Во всём чувствовалась рука неведомого заграничного джазмена, подобно самому изысканному нью-орлеанскому барабанщику шаркающего в слабую долю по гладкой мембране стрелки Васильевского острова дворницкими метлами. Германисты, оба оказавшиеся поэтами, постоянно вставляли в свои стихи весь этот разномастный диксиленд и потом гремели и сверкали им, соблазняя однокурсниц на общажной кухне.

Филологини приходили на кухню в коротких халатиках. Они, подобно цаплям, поставив ногу на ногу, помешивали что-то в маленьких эмалированных кастрюльках. Мишель хотел их всех. Каждую он представлял в своих объятиях. И как было не представить, когда вот тут рядом эта такая доступная красота по-домашнему целомудренно обнаженных тел, жесты, силуэты, запахи. Германисты, оказывающиеся поблизости и замечающие взгляды, что Мишель невольно бросал на их однокурсниц, принимались ржать и хлопать Мишеля по плечу: «Пионер, нишкни! Не взорвись, термоядерный наш! Тебе не светит».

– Грецкие орехи очень хороши для потенции, – замечал Шахрай, раскалывая кастетом очередную скорлупу.

И при этих его словах германисты опять принимались ржать.

Мишель, кстати, не был уверен, что поступит. Он сдал выпускные на отлично, да и в аттестат четвёрок просочилось только три: по труду, по русскому и по химии. Синтаксис родного языка Мишелю так и не покорился, ставил он запятые куда придётся. Зная все правила, не понимал, зачем им следовать. Это регулярно выливалось в тройки по контрольным. Как назло, сочинение назначили вторым экзаменом, его писали на историческом факультете, в огромной аудитории, где ряды старинных, крашенных тёмным лаком парт поднимались амфитеатром под самый потолок. По всему Союзу шёл эксперимент: тем, у кого в аттестате средний балл оказывался выше четырёх, разрешалось сдавать только два экзамена. Наберётся девять баллов – всё, значит, поступил. Математику Мишель и Шахрай оба сдали на пятёрки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.